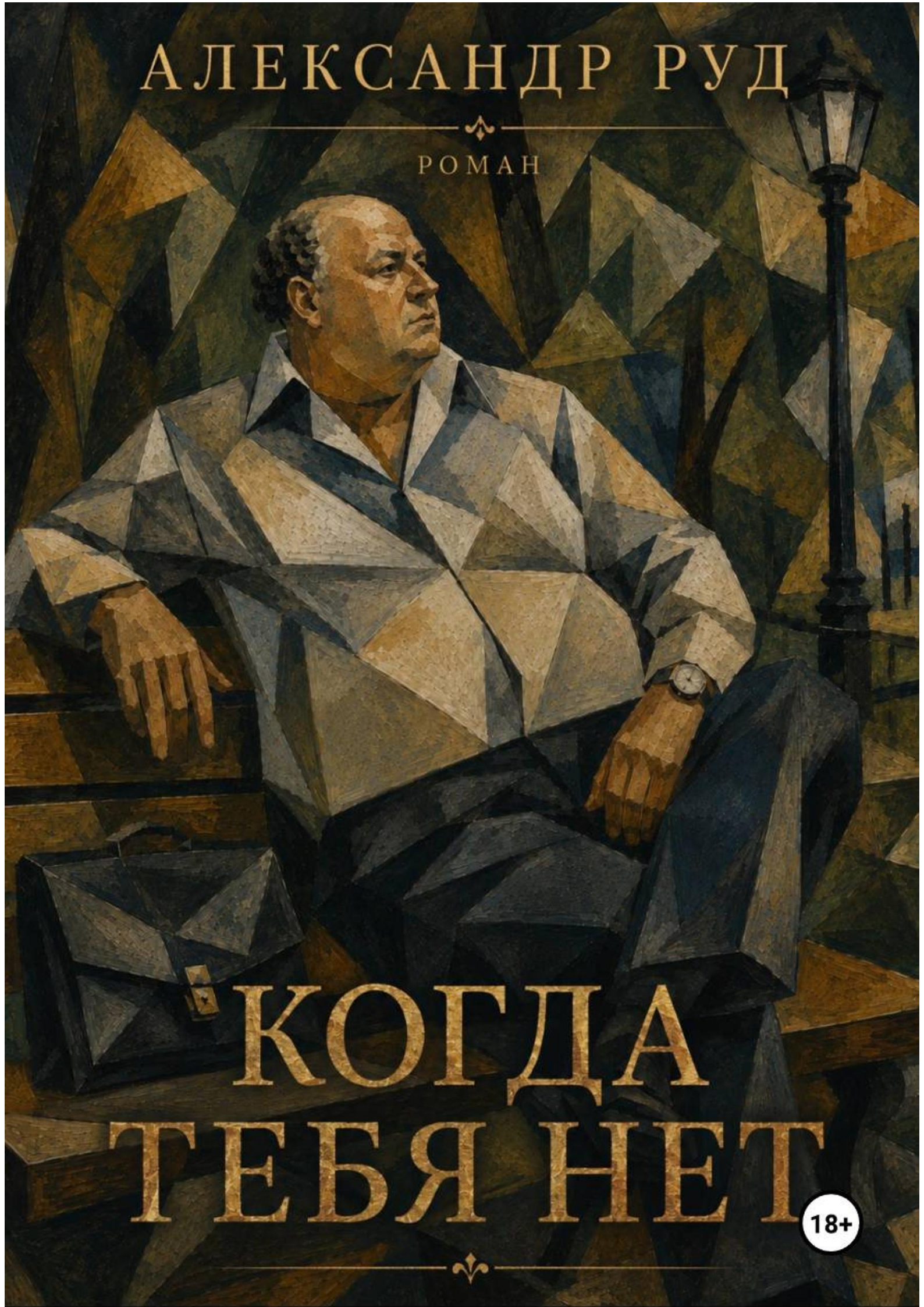




АЛЕКСАНДР РУД

РОМАН

КОГДА
ТЕБЯ НЕТ

18+

Александр Руд

Когда тебя нет

«Автор»

2026

Руд А.

Когда тебя нет / А. Руд — «Автор», 2026

Виктору давно за пятьдесят. Он живёт в чужой стране, работает на складе и всё чаще возвращается мыслями к прожитой жизни — к женщинам, которых любил, людям, которых потерял, и поступкам, которые уже невозможно исправить. Но среди множества воспоминаний есть одно, от которого он упорно уходит. Его мать, Джульетта. Она стареет, ей плохо, и Виктор знает, что должен быть рядом. Только между «знаю» и «чувствую» вдруг оказывается целая жизнь. «Без тебя» — роман о любви и одиночестве, памяти и забвении, о семье, от которой можно уехать за тысячи километров, но невозможно уйти окончательно.

© Руд А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Александр Руд

Когда тебя нет

Глава

Когда тебя нет

Роман

Мать, настоящая мать, никогда не умирает, даже когда она умирает.

Виктор Гюго

Мать не умирает. Она лишь уходит прогуляться и будет ждать тебя там — у твоей последней черты.

Александр Руд

Глава 1. Виктор

Когда-то, совсем давно — так давно, что Виктор уже начал сомневаться, ему ли вообще это было сказано, — один человек вдруг заявил:

— А ведь ты лентяй.

Он смотрел на Виктора, копающегося в песочнице, как смотрят на разоблачённого преступника. Виктор в ответ смотрел на него, поедающего жирную воблу, и на миг почувствовал себя тем самым преступником, которого разоблачили. Но потом отпустило.

«А какое, собственно, тебе, старый мудак, дело до того, кто я такой?» — подумал тогда Виктор, деловито стряхивая песок с ладоней.

Возможно, именно с того момента и началось его противостояние с родом человеческим. Хотя теперь Виктор уже не был уверен, что всё началось именно тогда.

И сейчас, разменяв шестой десяток, пройдя немало жизненных дорог, не раз возвращаясь к истокам и снова уходя в неизвестность, безуспешно пытаясь отыскать хоть какое-нибудь счастье, Виктор оказался в чужой стране, среди чужих людей, на пропахшем машинным маслом складе. Он мысленно признал: тот человек был прав.

Да, Виктор не был трудоголиком.

Он считал часы до конца смены. Высиживал их, выхаживал, выкуривал. И если бы время хотя бы двигалось. Нет. Оно стояло. На этом складе оно словно загустевало вместе с воздухом, пропитанным пылью и маслом.

Непотопляемый склад каждый день давил на него своим поразительным однообразием. Ко всему прочему, этот нескончаемый гул, от которого к вечеру начинала болеть голова.

Наконец долгожданная сирена. Виктор вздрогнул, хотя ждал её уже несколько часов.

На улице он сразу почувствовал запах дерьма, доносившийся с полей. Впрочем, несло и от местных клумб, возделанных по приказу хозяина или начальника — Виктору было всё равно.

Хозяин пытался облагородить территорию: разбил газоны, посадил кусты, решил хотя бы намекнуть на порядок. Создать свой маленький Венский лес среди складов, принадлежащих конкурентам. Получалось плохо. Растения чахли, листья покрывались жирной пылью.

Виктор пошёл напрямик. Рискуя измазаться, пробрался через поникшие заросли к своему чёрному «Опелю». Солнце пекло весь день, машина раскалилась, как печь. Он открыл дверь, включил зажигание и кондиционер, отошёл в сторону и закурил.

Пока салон остывал, Виктор выпускал тонкие струйки дыма и незаметно для себя погружался в мысли.

Поразмышлять он любил. На этот раз мысли привели его к собственному нравственному падению. Так он иронично называл своё нынешнее положение в обществе, существование которого всё-таки приходилось признавать. Звучало красиво: «падение».

«А было ли оно, это падение?» С этим ещё можно поспорить. Точнее было бы назвать деградацией.

Привычка дурить себе голову всякой ерундой. Не замечать очевидного. Чудовищное упрямство. Самокопание. Нерешительность.

А ещё с ним происходила удивительная вещь: он забывал людей. Их имена, лица, собственные чувства к ним. Стоило человеку исчезнуть из поля зрения, следом исчезало всё: привязанность, симпатия, ощущение родства, долг. Оставалось только что-то вроде: «Надо бы...»

Вот и сейчас надо бы что-то предпринять. Только что?

Да... Вот самая главная мысль. Мать. Джульетта.

Он знал, что она есть. Знал, что ей плохо. Знал, что нужно поехать к ней. Но это знание оставалось сухим, лишённым внутреннего веса, просто одной из множества мыслей, мелькавших в голове. Оно не давило, не тянуло, не заставляло действовать. Как будто речь шла не о ней.

Сигарета догорала. Он зажал ногтями крохотный окурочек и дотянул его до самого конца, скорее по привычке.

Конечно... Он загнал себя в угол и не видел выхода. Оставалось думать. А в голове перебор.

Он упрямо, с каким-то ожесточением перебирал варианты своего поведения в сложившемся коллапсе.

Сейчас он был загнан в угол и винил в этом только себя. Как ни странно, без всякого смирения — со злостью, почти с вызовом пытался понять, где именно дал маху. И когда.

Нормальным людям — цельным, твёрдым, правильным — вообще не свойственно копаться в себе. Занятие бесполезное, утомительное, отвратительное, удел слабых, ранимых и робких. И конечно же, для Виктора, именно для него, оно стало привычкой, а со временем почти удовольствием. Как больной зуб, который всё время трогаешь языком, прекрасно зная, что будет больно.

Вобщем-то высокий, отяжелевший, он стоял, глядя в никуда. И вдруг изменился в лице.

Нахлынула тоска — сверлящая, тяжёлая. И дело было вовсе не в политическом бардаке последних лет, о котором без усталости твердили складские рабочие. Нет, причина была в другом.

Он вспомнил мать. Джульетту.

«Господи, кто же дал ей такое имя?» — мелькнуло у него в межмысли.

Он сразу отметил, что думает об этом всякий раз. Словно имя могло что-то объяснить. На самом деле оно ничего не объясняло. Просто давало выход обычному недовольству от предстоящей встречи.

Он представил её в доме престарелых. Среди сиделок. Среди людей. И всё равно одну. Тут же подумал, что нужно её навестить.

Мысль прозвучала правильно, но уж слишком вымученно.

Он поднял голову. Верхушки деревьев клонились к северу. Ветер шёл с юга. Солнце медленно уходило к западу. Лето было в разгаре.

Он посмотрел на «Опель». Машина уже остыла.

И тут же снова — мать.

С мыслью о ней пришла тревога, почти граничащая со злобой. На себя. На неё. На обстоятельства.

Ему показалось, что он уверенно движется к депрессии. И это даже немного успокоило его. Появилось хоть какое-то объяснение происходящему.

Дверь пришлось захлопнуть дважды. С первого раза она не закрылась. Салон уже остыл. Из решётки кондиционера с рёвом дул холодный воздух.

«Наверное, объятия депрессии такие же холодные», — подумал он.

Автобан А8, соединяющий Мюнхен со Штуттгартом, был его шансом быстрее добраться домой. Домой, где его никто не ждал. Небольшая квартира: две комнаты, кухня, совмещённый санузел.

После разрыва с Кларой он так никого и не нашёл. Женщины были. Но не оставались. В промежутках между этими недолгими отношениями он нашёл себе занятие получше.

Размышлять.

С этим проблем не возникало. Мысли появлялись сами собой, словно черти из табакерки. Сегодняшний день был особенным. Мысли о матери не отпускали его ни на минуту.

Вопреки распространённому мифу о славянах, он не любил быстрой езды. Ехал спокойно, не превышая скорости. Впереди, вцепившись в руль, медленно тащился старик на «Гольфе». Виктор не обгонял. Плёлся следом и даже был ему благодарен. Медленное движение давало возможность спокойно подумать о том, как избежать холодных объятий депрессии.

Кажется, он нашёл способ.

Но для этого пришлось изворачиваться. Оправдывать собственную брезгливость к женщине, которая его родила.

Он убеждал себя, что забота о ней — его обязанность, и внимательно прислушивался к тому, как это звучит внутри. На самом деле не звучало. Вернее, звучало правильно, но будто не его голосом.

Нет, он был готов заботиться о матери. Но в какой степени? В каких пределах? До какой черты?

«В конце концов, не превращаться же в няньку», — думал он, съезжая с автобана. «Это просто недопустимо».

У него не было на это времени. Он ещё не реализовал себя. Хотя на шестом десятке подобные мысли звучали уже почти неприлично. И всё же он продолжал надеяться. Что кто-нибудь придёт. Что-нибудь предложит. Как-нибудь изменит его жизнь.

А вместо этого он должен всё бросить и принести себя в жертву? К этому он был не готов.

И почему же так неожиданно, в один миг, весь этот ворох проблем свалился именно на его голову? Вопрос был риторическим, обращённым к пустому воздуху, и ответа, разумеется, не существовало. Вместо него в голове рождались тысячи противоречивых мыслей о долге перед родителями.

От внутренних диалогов уже тошнило. В конце концов он устало соглашался с общепринятой моралью, основанной то ли на философии Конфуция, то ли на вечном человеческом страхе оказаться плохим: родители живут для нас, а мы потом, немного позже, — для них.

Когда всё выглядело аксиомой, он одобрительно кивал головой. Этот кивок был для него разумной маскировкой, а для коллег — всего лишь смешным тиком.

«Лучше пусть смеются, чем узнают, о чём я думаю, — сказал он себе. — Ляпнешь что-нибудь — и всё: вмиг сойдёшь за чёрта с рогами. Устроили, понимаешь, парад святых. Носятся со своей нравственностью, как стадо баранов с транспарантами, тычут ею друг другу в глаза, а на деле тянут пенсии со своих доходяг».

И мысль, разогнавшись, словно ожила и обрела голоса.

«Вот посмотри, какой я святой. Когда придёт время, я своих стариков не брошу. Я их себе на шею посажу».

«А ты? Вот ты посадишь своих стариков себе на шею?»

«Я? Лично я?»

«Да, лично ты».

«Конечно посажу. Да так посажу, что никто так не посадит».

«А кто же тогда не посадит?»

«Даже ума не приложу».

«Но ты же понимаешь, что так не бывает, чтобы все посадили?»

«Понимаю».

«Ну тогда давай поищем, кто не посадит».

«Ну давай поищем».

И начинаются поиски — в духе средневековой охоты на ведьм. Ищут усердно, провоцируя друг друга, главным образом от скуки и душевной бедности. А в какой неописуемый восторг приходят, когда находят! Этот восторг действительно невозможно описать, потому что теперь, обвинив одного, можно дальше грешить спокойно. Чёрт уже найден.

«Лучше молчать. Только так можно избежать суда Линча».

Когда-то ему была чужда эта коллективная истерия, эта чепуха, эта мышьяная возня. Не было ни повода, ни личного интереса. Но теперь, после того как мать стала немощной, он и сам, скрывая своё истинное мнение, рьяно участвовал в поисках инакомыслящих.

Виной тому была негативная реакция общества. Она, как известно, является грозным психологическим оружием. Человек мягкий, эмпатичный, сентиментальный может не выдержать общественного презрения и, как говорится, наложить на себя руки.

Виктору такой итог не грозил. Ему повезло. При явном отсутствии некоторых качеств, которые принято считать душевными достоинствами, он обладал то ли сильной волей, то ли диким упрямством. Во всяком случае, проигрывать он не любил никогда.

Эта жизненная позиция помогала ему противостоять порыву сунуть голову в петлю. А примеров вокруг было достаточно. Некоторые коллеги и приятели, время от времени появлявшиеся в его жизни, после разногласий с окружающими, начальством или родственниками, чаще всего с женой, заканчивали плохо. Даже если не лезли в петлю, сердце у них останавливалось ещё в сравнительно молодом возрасте.

Виктор здесь был неуязвим.

У него не было друзей, постоянной работы, постоянной женщины, постоянной жены. Даже постоянных собутыльников не было. Весь этот балласт сам выпрыгнул за борт его лодки, на которой он плыл по бурной реке жизни, обходя пороги.

И всё было бы хорошо. Жизнь текла бы дальше ровно, без больших надежд и без больших катастроф, если бы не чёртова война в Украине. И не его хитрая мать, свалившаяся ему на голову, словно снег в августе.

Глава 2. Воспоминания 1

Виктор считал мать хитрой не потому, что однажды пришёл к такому выводу, а потому, что так было всегда и этот факт не нуждался для него ни в каких доказательствах. Однажды она заметила, что он наивен, почти глуп, и с тех пор уже не упускала случая воспользоваться этим. Он запомнил это ещё с детства.

Вернувшись из школы, он обнаружил, что ключей нет, дверь заперта, а в тот самый момент организм подвёл его — толстой кишке стало всё равно на приличия. Он заметался по лестничной площадке, лихорадочно озираясь в поисках хоть какого-нибудь укрытия, но очень быстро понял, что не успеет. Тогда он прижался к стене и сдался.

Тёплая тяжесть разлилась, заполнила бельё, трусы провисли, превратившись во что-то вроде мешка, удерживавшего всё внутри. Когда извержение закончилось, в голове неожиданно возникла мысль, совершенно нелепая. Он не побежал к реке, хотя она была совсем рядом, не стал прятаться, а выбрал другое.

Осторожно, мелкими шагами, стараясь ничего не расплескать, он направился к троллейбусной остановке. Решил поехать к матери на работу за ключами. Не из мести, не для того, чтобы опозорить её, а просто потому, что другого выхода не видел. И именно тогда она, кажется, впервые подумала, что с ним что-то не так.

Второй случай был уже не физиологическим, а психологическим.

Он вырос, учился в старших классах, и мысли о женщинах заполняли всё: день, ночь — одно и то же. Он пытался это скрывать, но не умел. Всё читалось у него на лице. Девочки решили пошутить. Одна из них позвонила домой, не представилась и назначила свидание на остановке — место было открытое, хорошо просматриваемое. Он даже не спросил, кто она. Ему было всё равно. Через минуту он уже стоял там.

Час он ждал, потом начал догадываться, но всё ещё сомневался: а вдруг ошибся остановкой? Домой он вернулся с остатками надежды, рассказал матери, рассчитывая на поддержку, а она посмотрела на него и спросила:

— Ты дурак?

И, кажется, именно тогда всё закрепилось окончательно: она поняла, что им можно управлять, а он — что с ним действительно что-то не так.

Наивность, почти переходившая в глупость, сопровождала его всю жизнь, и лишь недавно, когда мать стала немощной, он вдруг почувствовал прозрение. Он не был глуп. Он просто слишком долго верил, что она не ошибается. Эту уверенность она выращивала в нём аккуратно и настойчиво, пользуясь тем, чем владела в избытке, — хитростью. Всё оказалось гораздо проще, чем он думал.

Где-то в шестнадцать лет её умственное развитие остановилось. Удивительно, что она сама знала об этом и научилась это скрывать. С юношеской лёгкостью, почти играючи, она заставляла сомневаться и его, и других, куда более значительных людей. В её руках они дёргались, словно марионетки. Парадокс заключался в том, что, кроме Виктора, этого никто не замечал. Для всех она оставалась взрослой.

К вечеру солнце, словно опускаясь в погреб, уходило за горизонт, оставляя за собой огненный след. Жара отступала не сразу, постепенно превращаясь в липкую духоту. Склад, проходная, вертушки, контроль времени — всё это давно выхолостило его изнутри, оставив лишь пустоту, но он привык, смирился. Шум, мазут, серые стены и бесконечные стеллажи от постоянства уже давили на него, но нежно.

Тридцать лет назад, ещё молодым, он уехал в Германию. Тогда она казалась ему почти Америкой — шансом, обещанием новой жизни, и он летел туда словно на крыльях, не представляя, что окажется в рабочей робе, с тележкой в руках, под постоянным надзором, среди людей, привыкших жить простыми схемами и не желавших думать сложнее. И уж совсем не представлял, что внутри него постепенно вырастет другое — тяжёлое, липкое чувство: комплекс неблагодарного сына.

Мать теперь жила в доме престарелых для людей с психическими отклонениями, если выражаться мягко. Туда она попала не по его воле — так распорядился случай. Её привезли в больницу с высоким давлением и аритмией. Он был рядом до окончания оформления, убедился, что всё в порядке, и ушёл.

В пивную.

Нужно было снять накопившийся стресс. Пиво помогло, но ненадолго. Зазвонил телефон. Это был врач. Он говорил спокойно, но за этим спокойствием чувствовалось напряжение.

Оказалось, что сразу после ухода Виктора в палату зашла медсестра. Что-то не так сказала, не так посмотрела или просто не понравилась. Этого оказалось достаточно. Мать приподнялась и вцепилась зубами ей в руку — сильно, жёстко, насколько вообще способны зубные протезы. Следы от челюстей проступили мгновенно, кожа лопнула, густо выступила кровь. Медсестра вскрикнула и потеряла сознание. Если бы не подоспевшая коллега, неизвестно, чем всё закончилось. Приехал дознаватель, провели расследование, опросили свидетелей.

На следующий день суд вынес решение: месяц принудительного лечения в психиатрической больнице.

Он навещал её. Она по-прежнему не ходила, и было даже немного странно видеть, как её каждый раз вывозили к нему в инвалидном кресле. В нём она сидела спокойно, почти умиротворённо, и что-то объясняла по-русски, уверяя, что никого не кусала.

Дальше оставался только один вариант — дом престарелых. Но особенный.

С тех пор началась другая жизнь: бумаги, страховки, социальные службы, бесконечные препятствия и шёпот за спиной:

— Как можно... родную мать... при живом сыне... в богадельню...

Эти слова резали по живому, хотя сами «богадельни», как их называли, давно превратились почти в отели. Но не та, где оказалась она. Там всё было заметно хуже. Запах высушенной дохлой крысы стоял незыблемо, словно бетонная стена. Внутри топили, как паровозный котёл. Невыносимая жара соседствовала со щелями в окнах, из которых тянуло ледяными сквозняками. Персонал был грубым и неотёсанным, и временами Виктору казалось, будто все они — отпрыски маньяков и убийц, слишком хорошо усвоившие уроки своих родителей.

Он понимал, что нужно что-то менять, но не мог. Не было средств. И каждый раз, собираясь на очередную встречу с матерью, он мрачнел.

Как и все, он врал себе про «шесть звёзд». На самом деле это было место, где хотелось дышать через раз.

Она ждала его и не ждала одновременно.

Сидела на кровати — тихая, маленькая, почти высохшая. Глаза — тусклые, как алюминиевые ложки. И всё же по-своему, телепатически звала его, настойчиво, как и прежде. А он шёл, словно крыса на звук дудки.

— Что ты принёс в этот раз? — спросила она, не глядя на него, будто ответ был известен заранее.

— Как обычно... пирожные, шоколад, — ответил он после короткой паузы, уже понимая, к чему всё идёт.

— Я ведь просила колбасу. Ты помнишь об этом или нет?

— Да... подзабыл как-то, — виновато ответил он, хотя особого раскаяния не испытывал.

— Подзабыл? — Она чуть повернула голову в его сторону. — Так сходи сейчас и купи. В чём проблема?

— Магазины уже закрыты. Поздно, — не слишком уверенно попытался оправдаться он.

— Закрыты? — В голосе появилась холодная насмешка. — Тогда иди в ресторан. Или мне тебя учить, как это делается?

И он шёл, потому что знал: иначе потом будет хуже.

Комната была простой: кровать, стол, стул, ходунки, часы, комоды, окно с треснувшей рамой. Она садилась медленно, с усилием. Он не помогал. Смотрел с холодом и говорил себе: пусть тренируется.

Она ела. Он не торопил. Иногда ему хотелось уйти — сразу, не оглядываясь, но не получалось. С ней давно уже не о чем было говорить. Паркинсон. Деменция. Иногда она называла его чужим именем. Виктор заподозрил, что она притворяется, как Джон Нэш, продолжая играть в свою игру. Он решил проверить её и в следующий раз не сказал привычного:

— Мама, привет.

Она напряглась, сузила глаза, пытаясь понять, кто стоит перед ней.

Играет.

От этой мысли ему становилось мерзко.

— Мамуля, это я, Виктор.

— Ты думаешь, я не узнаю тебя?

И всё возвращалось на круги своя. Когда он собирался уходить, она тихо, но жёстко говорила:

— Нет. Ты не уйдёшь.

И он оставался. Как дрессированная собака.

«Как быстро бежит время», — мелькало у него в голове.

Он смотрел на неё и не узнавал. Где та женщина? Та, что когда-то одним взглядом могла подчинять мужчин. Та, чья красота была неоспоримой.

Он помнил её и боялся. В детстве он видел в ней силу, почти божественную, и жил по простым правилам: как угодить, как не ошибиться, как не потерять её расположение.

Она делала вид, что это не имеет значения.

— Да какая разница... Зачем всё это...

Но он знал: имеет.

Глава 3. Воспоминания 2

Виктор хорошо помнил своё детство. Казалось, что помнил всё с самого начала: как его вытягивали из чрева матери, как акушерка хлопнула его по ягодицам и он завизжал — резко, пронзительно, на весь роддом. Потом время понеслось своим чередом: год, два, три, детский сад, школа, а в восемнадцать лет его определили в военное училище. Так было нужно. Он не сопротивлялся. Даже наоборот — заинтересовался. Правда, не учёбой и не службой. Его тянуло к другому — к вольнодумству, к неповиновению. По иронии судьбы ни того, ни другого там не оказалось, да и быть не могло. Откуда же взялось это чудовищное заблуждение? А-а... Всё понятно. Герцена начитался. Александра Ивановича.

В нём рано проявилась странная тяга идти против — против любой власти, любой системы, словно в крови сидела какая-то разбойничья жилка. Но до настоящих преступлений дело не доходило. Мешал страх потерять свободу. Поэтому всё ограничивалось мелкими нарушениями.

Восьмое марта. Четыре часа утра. Он выпрыгивал со второго этажа казармы, перелезал через высокий забор и шёл на городской цветочный рынок, где старушки продавали цветы. Там он покупал три красных тюльпана для матери. Важно было успеть раньше всех, до рассвета, пока город ещё спал. И вот наступало утро: она открывала глаза и видела на тумбочке возле кровати три тюльпана, завёрнутые в прозрачную плёнку.

Джюльетта поджимала губы, хмыкала и почти равнодушно говорила:

— Спасибо.

Виктор тогда не видел её лица. Иначе, возможно, понял бы причину этой холодности, потому что эти цветы слишком напоминали те, что приносят на кладбище.

Бабушка — Мария, мать Джюльетты.

Он вспоминал, как зимними вечерами она сидела в кресле-качалке у камина, вязала и рассказывала о прошлом, о людях, о том, чего уже не вернуть. За окном выл ветер, огонь в камине потрескивал, а спицы в её руках стрекотали почти без остановки.

Виктору было шесть лет. Он сидел верхом на деревянной лошадке и слушал — не столько слова, сколько сам звук её голоса, — не отрывая взгляда от огня.

— Помню свою маму, Анфису... твою прабабку... — говорила она. — Ох и красивая была. Люди ведьмой называли. Потому что красивая.

Она делала паузу, словно пробуя слова на вкус.

— Тогда бабы в деревне были простоволосые, а она — словно чужая. Волосы чёрные, глаза серые... большие. И поплатилась за это.

Виктор видел её фотографию — маленькую карточку с узорчатой рамкой. Серый фон. Женщина смотрела прямо. Светлые, глубокие глаза, в которых словно застыли и грусть, и упрямство. Плотные сжатые губы. Волосы, аккуратно уложенные на прямой пробор. Шаль на плечах. Казалось, что она смотрит на него под любым углом. Родства он не чувствовал. Но чувствовал притяжение.

— Ба... а что с ней было? — спрашивал он, хотя уже знал ответ.

— Оговорили её, — спокойно отвечала бабушка. — Сказали — любовник.

— А кто это?

— Подрастёшь — поймёшь.

Он замолкал, а она продолжала, уже не останавливаясь.

История текла тяжело, словно густая вода: муж, прииски, подозрения, возвращение раньше времени, ружьё, выстрел. Филимон — так звали приказчика — мёртв. А её... не убил. Схватил за волосы, рванул вместе с кожей. Лицо оказалось изуродовано навсегда.

— Так и ходила... в платке... до самой смерти, — тихо завершала бабушка.

— А он?

— Каторга. Двадцать лет. Не дожил.

После этого она всегда говорила одно и то же:

— Всё. Спать. Поздно уже.

Часы били полночь. Виктор слезал с деревянной лошадки и поднимался в свою комнату. Кровать тихо поскрипывала. Лоскутное одеяло было тяжёлым. Он сбрасывал на кресло большие и маленькие подушки, оставляя только одну, раздевался и нырял под одеяло.

Дверь оставалась открытой. Он слушал дом: скрип половиц, шаги, щелчок замка. Мама возвращалась.

Платок — на вешалку. Пальто — следом. Валенки — в сторону.

— Холодно, — говорила она, потирая руки.

Бабушка смотрела вверх очков.

— Ты время видела?

— Не надо мне нервы трепать. Я устала.

И уходила в свою комнату.

Дом затихал. Снаружи завывал только ветер, как дикий зверь, ищущий пристанища.

Виктор всё ещё не спал. Мысли текли потоком, обрывками: фразы, лица, запахи, звуки. Иногда вспоминался сегодняшний день, иногда — то, что произошло много лет назад. И он всё яснее понимал вещи, до которых многие доходят лишь с возрастом.

Например, что с девочками ему всегда было проще, а с мальчиками — нет. Среди них он неизменно чувствовал себя чужим. Мать он любил сильно. Она была для него как те девочки, только ближе. И никогда не отталкивала.

Отец — другое.

Страх. Раздражение. И ещё что-то неприятное, почти физическое. Очень рано он понял, что эти чувства лучше не показывать, и спрятал их так глубоко, что, как оказалось, навсегда.

Ему три года. Ночь. Он стоит в кроватке, держится за перекладину. За окном серебрится река, освещённая луной. Он долго смотрит на неё, и вдруг из глубины коридора раздаётся тихий, зловещий голос, приказывающий ему спать.

— Ты кто? — спокойно спрашивает он.

— Бабай, — отвечает голос.

— Ты злой?

— Ложись спать.

Он ложится и думает:

«Это папа. Он меня не любит».

И в этой мысли не было ни страха, ни отчаяния. Только вывод. Точный. Опустошающий.

Глава 4. Начало

Шёл 1937 год. Пятнадцать лет назад победой красных закончилась Гражданская война: Белая армия была разгромлена, буржуазия как класс — уничтожена, хотя и не до конца, оставив после себя тень прежнего мира.

Формально наступило мирное время, но это спокойствие было далеко не для всех.

Многие противники советской власти не исчезли — они просто ушли в тень, растворились по огромной стране и, оказавшись на нелегальном положении, начали создавать подпольные сети, мешая новой власти окончательно закрепиться. Бандитизм, диверсии, саботаж постепенно переставали восприниматься как нечто исключительное и всё чаще становились частью повседневной жизни, к которой людям приходилось привыкать.

В то время многие молодые, убеждённые в своей правоте рабочие по рекомендациям коллективов вступали в ряды ГПУ, искренне считая, что помогают новой власти очистить страну от её врагов.

Бабушке Виктора, Марии, в то время не было ещё и тридцати лет. Молодая женщина, уже замужняя, с тремя детьми — мал мала меньше, — она жила быстро, как и всё вокруг неё.

Повезло хотя бы в одном: её муж, Стефан Михайлович Данович, обрусевший поляк, оперуполномоченный ГПУ, исправно обеспечивал семью, и в их доме, несмотря ни на что, сохранялось ощущение относительного порядка.

Однажды вечером он вернулся поздно. Пьяный. И не один.

— Вот, знакомься... мой товарищ. Вместе беляков били, — сказал он, слегка запинаясь и небрежно кивнув в сторону гостя. — Ты это... собери нам что-нибудь поесть. И бутылку из погреба тащи.

Тон его звучал довольно мягко, но в этой мягкости не оставалось ни малейшего пространства для отказа.

— Да бог с тобой... куда уже пить-то... — тихо, почти шёпотом, возразила Мария, скорее по привычке, чем надеясь быть услышанной.

— Цыц. Не твоего ума дело. Быстро.

Она не стала спорить.

Тихо, стараясь не разбудить детей, Мария накрыла на стол: расстелила белую скатерть, достала из печи горшок с варёной картошкой, из буфета — соленья, а из погреба принесла тяжёлую пятилитровую бутылку самогона — мутного, как известь, закупоренную тряпичной пробкой.

Подкрутила фитиль керосиновой лампы, добавив света в комнату, и, несмотря на вялые, почти формальные протесты товарища, ушла к детям, оставив мужчин одних.

Ночь тянулась долго и не становилась тише.

Из комнаты доносились голоса — то приглушённые, то вдруг резкие. Смех переходил в спор. Звучали слова, которые невозможно было разобрать, но в самой их интонации уже чувствовалось нарастающее напряжение. А потом раздался выстрел. За ним — второй.

Глухо загрохотали падающие на пол тела, словно что-то тяжёлое сорвалось с высоты и рухнуло разом.

Дети проснулись, сели на кровати, прижались друг к другу, подтянули одеяло к подбородкам и молча смотрели на мать широко раскрытыми глазами.

Мария застыла.

Происходящее было похоже на внезапный, необъяснимый конец всего — на обрыв, за которым разверзлась бездна.

Она не понимала, что делать: бежать, звать кого-нибудь или просто ждать.

Медленно подойдя к двери, Мария прислонилась к ней ухом. За дверью стояла тишина. Глухая. Страшная.

Она осторожно приоткрыла дверь. И закричала.

Дверь, распахнувшись настежь, с грохотом ударилась о стену. Открывшаяся её взгляду картина заставила сердце сжаться от ужаса.

На полу лежал Стефан. Из груди толчками била кровь — тёмная, густая, почти чёрная в свете керосиновой лампы. Он тянул к ней руки, словно ещё пытался подняться.

Мария бросилась к нему, упала на колени, приподняла его голову.

— Тише... тише... сейчас... дыши... слышишь...

Но он только моргал и захлёбывался собственной кровью, не в силах произнести ни слова.

Через мгновение всё было кончено.

Рядом лежал «товариш». В руке у него был зажат «наган». Один висок оказался обуглен, с другой стороны зияла рваная дыра. Кровь и куски ткани разметало по полу, смешав всё в одну липкую, тяжёлую массу.

Позже всё сведут к одному: бытовуха.

Сначала он выстрелил Стефану в грудь — прямо в сердце. Потом, не раздумывая, пустил пулю себе в висок.

Так Мария стала вдовой.

А трое её детей — наполовину сиротами, хотя ещё не до конца понимали, что это значит.

Недолго она носила траур.

Время было другим — быстрым, жёстким, не оставлявшим человеку права на долгую скорбь.

Её заметил сослуживец Стефана — Коновалов Василий Петрович, начальник детской исправительной колонии, человек с характером и, как тогда говорили, с будущим.

Он, недолго думая, взял Марию в жёны.

А её детей — Томаса, Марека и Барбару — оформил как своих, без лишних разговоров.

Джюльетта тогда ещё не родилась.

Она появится позже — уже в другой жизни, которая начнётся после всего этого.

Накануне войны, в конце тридцатых — начале сороковых годов, в СССР разговоры о возможной войне велись крайне осторожно — в основном на кухнях, вполголоса, с постоянной оглядкой на стены. Собственное мнение предпочитали держать при себе, не вынося его даже в круг близких знакомых, где, казалось бы, можно было доверять друг другу.

Военные в большинстве своём считали, что войны быть не должно: в Москве, в Кремле, руководители позаботятся о мире, а значит, и им, как и всему народу, волноваться особенно не о чем. С Германией, считавшейся потенциальным противником, был подписан пакт о ненападении, а её пролетариат, как авангард социалистического движения, по тогдашней логике не

мог допустить нападения на Советский Союз — страну, где социализм уже победил и которая считалась форпостом борьбы с мировым капитализмом.

Домохозяйки же политикой почти не интересовались. Они кормили семьи, стирали, воспитывали детей, а по выходным выбирались за город, ходили в народный театр, радовались мирной жизни, смеялись, любили и старались не думать о тревожном.

Летом солнце вставало рано и даже по выходным не давало как следует выспаться. Птицы, подчиняясь своему простому, неосознанному ритму, начинали щебетать во всё горло, не задумываясь о том, что будят людей, и этим настойчивым гомоном вырывали домохозяек из сна.

Воробьи и дрозды разбудили Марию. Она откинула руку и нащупала рядом мужа. Василий крепко спал на спине, тихо посапывая. Будить его в такую рань казалось жестокостью: утренний сон самый крепкий, да и был воскресный день — редкая возможность отдохнуть.

Стрелки каминных часов с вращающейся балериной, стоявших на столе, накрытом кружевной скатертью, показывали четыре часа.

Мария привсталала, опираясь на локоть, и с тихим, почти детским интересом рассматривала ставший таким родным профиль Василия: короткие торчащие волосы, широкий лоб, изогнутую бровь, прямой нос с едва заметной горбинкой, впадину под ним, тонкие губы и упрямый, волевой подбородок. Он казался ей необыкновенно красивым, и где-то глубоко внутри она даже немного ревновала его к своим подругам.

На мгновение ей захотелось, пока он спит, забраться к нему под одеяло и разбудить по-своему — ласково и настойчиво, но она тут же остановила себя: это было бы слишком эгоистично.

Мария закрыла глаза и с тихим удовлетворением подумала, что счастлива.

В соседней комнате спали трое её детей, а трёхмесячная Джульетта мирно сопела рядом, в маленькой кроватке.

Вдруг, без всякой видимой причины, в груди кольнула тревога — короткая, едва уловимая, — но так же быстро исчезла.

Мысли о семье успокоили её: все живы, все рядом, значит, волноваться не о чем. На прибитом к стене календаре выделялась красная дата — 22 июня 1941 года. Мария улыбнулась, потянулась на мягкой перине и снова уснула. Во второй раз её разбудили уже не птицы.

Дети носились по квартире, играя в догонялки, громко смеялись и сбивали всё на своём пути. Воздух был пропитан запахом цикория.

Василий, покачивая на руках маленькую Джульетту, кормил её молоком из бутылочки с каучуковой соской и, заметив, что Мария проснулась, посмотрел на неё с тёплой улыбкой.

— Который час? — спросила она, всё ещё не до конца проснувшись.

— Десятый, моя принцесса, — спокойно ответил Василий.

— О боже, так поздно... Почему ты меня не разбудил?

— Не хотел. Ты так сладко спала, что было жалко тебя будить.

— Но мы же собирались сегодня ехать на речку...

— Боюсь, сегодня не получится.

— Это почему ещё?

— Мне нужно идти на работу. Машина будет с минуты на минуту.

— А что случилось?

— Ты только не волнуйся... Возможно, это учебная тревога.

- Вася, не мучай меня. Скажи прямо, что произошло?
- Ну... понимаешь... вроде как война.
- Какая война? С кем?

— С немцами. Но я не уверен. Может быть, просто учения. У нас же с ними договор о ненападении.

У Марии внутри всё внезапно оборвалось. Она почувствовала, как по груди медленно разливается холод.

— О господи... — едва слышно прошептала она, вспомнив ту странную утреннюю тревогу.

Последний раз Мария увидела мужа, высунувшись из окна. Он стоял внизу и махал ей рукой, прощаясь так, словно собирался вернуться к вечеру. Через минуту служебная машина увезла его в колонию, где подчинённые уже ждали своего начальника.

— Ну что, товарищи, — как говорится, повоюем немца?

— У нас же договор с ними! О ненападении! — выкрикнул кто-то из прокуренного зала.

— Получается, нарушили.

— Брехня всё это! Не будет войны, и думать о ней нечего!

— Я тоже так думал... Но сегодня пришла депеша с приказом действовать по плану на случай войны.

— Так что же это — опять в окопы? Только жить начали...

— Товарищи! — громко прервал их Коновалов. — Не время для разговоров. Война — значит война. Пойдём, будем воевать и победим. Или что, наша Красная Армия с какой-то немчурой не справится? Это дело нескольких дней, если не часов. Прошу без паники. Всем взять себя в руки и работать в режиме военного времени. Всем всё ясно?

— Ясно!

— Тогда за работу, товарищи.

В двенадцать часов дня советский народ во всех уголках страны услышал из репродукторов голос Молотова. Он сообщил о нападении Германии и начале войны.

Первый удар пришёлся по Белоруссии. Враг оказался недооценён. Стремительными ударами немецкие войска уже в первые дни разрушили главное — уверенность в непобедимости Красной Армии. Хаос и паника, охватившие войска, помогли противнику быстро продвигаться вглубь страны. Ни личный героизм солдат, ни решения командиров уже не могли остановить этот натиск. Люди отступали, бросая технику, оружие, имущество и стараясь спасти хотя бы собственную жизнь.

Мирное население подлежало срочной эвакуации — на Кавказ, в Узбекистан, Казахстан, за Урал. Так семья Коноваловых оказалась в относительной безопасности. Но прежде им предстояло пройти через испытания, о которых никто из них ещё не мог даже подумать.

Товарные вагоны, наскоро приспособленные для перевозки людей, длинными составами тянулись вдоль перронов. С вокзала Могилёва Мария с четырьмя детьми и престарелой матерью — той самой Анфисой с перекошенным лицом — отправилась за Урал.

Во время посадки творилось настоящее безумие. Люди были уверены, что немцы уже рядом. Женщины, старики, дети с узлами и чемоданами карабкались в вагоны, сбивая друг друга, толкаясь, ругаясь. Иногда дело доходило до драк и ножей.

Втянутая в этот человеческий поток, Мария оказалась у двери вагона, который показался ей ещё не до конца заполненным. Обрадовавшись, она ухватила за скобу и уже поставила ногу на ступеньку. Джульетта была туго завернута в платок, которым Мария крест-накрест примотала её к себе. Мать и трое старших детей остались внизу, прижавшись к составу и стараясь не попасть под обезумевший поток людей.

И вдруг из темноты вагона высунулась рука, резко разжала её пальцы. Мария не удержалась и упала обратно на щебёнку.

Следом показалось лицо пьяного мужчины.

Он зло бросил, что мест больше нет, и посоветовал убираться, пока не передумали их всех.

Пришлось искать другой вагон.

Помогли незнакомые люди. Они втащили Марию с детьми к себе.

Путешествие длилось почти месяц. Каждый день мог стать последним. Немецкая авиация бомбила эшелоны, не обращая внимания на красные кресты, нанесённые на крыши вагонов. Самолёты пикировали, расстреливали людей из пулемётов, а затем сбрасывали бомбы, разрушая железнодорожные пути и уничтожая всё вокруг.

Поезда останавливались. Люди выбегали — в лес, в поле — падали на землю, вжимались в неё, закрывая головы руками. Взрывы рвали воздух со всех сторон, и спасение зависело только от удачи.

Во время одного из налётов Мария, схватив Джульетту, побежала к лесу. На бегу она оглянулась. Дети и мать бежали следом.

И тогда она увидела тот самый вагон. Тот мужчина всё ещё копался внутри, собирая вещи. В следующее мгновение раздался пронзительный свист падающей бомбы. Она ударила прямо в вагон. Взрыв разнёс его в щепки. Никто не выжил. Когда самолёты улетели, наступила тишина.

Ночевать пришлось в поле, не разжигая костров.

Наутро подошли ремонтные бригады. Они восстановили пути, убрали обломки вагона, похоронили погибших в общей могиле, и состав снова тронулся, увозя оставшихся в живых всё дальше от надвигавшейся бойни.

Колёса мерно отбивали свою железную чечётку, а за пулевыми отверстиями в стенках вагонов медленно уплывала земля.

На какое-то время Марии показалось, что всё самое страшное уже позади, что враг сделал своё дело и новых налётов больше не будет.

Но самолёты возвращались снова и снова.

И каждый раз Марии везло. Ей и её детям удавалось выжить.

Под Смоленском стало спокойнее. Бомбёжки прекратились, но люди, несмотря на это, продолжали с недоверием поглядывать в небо.

И вот однажды по репродуктору объявили, что через десять минут поезд прибывает в Москву.

Глава 5. Урал

Осмотреть Москву, как когда-то в мирное время, у Марии с семьёй не было ни сил, ни желания. Да и само слово «осмотреть» теперь звучало почти нелепо в той реальности, где даже оглянуться по сторонам было трудно: тебя в любую секунду мог унести хаотичный, беспорядочный человеческий поток.

Москва превратилась в огромную перевалочную станцию — живой, шумящий узел, через который непрерывно проходили эшелоны, прибывавшие из западной части страны. В этом гуле, криках, паре и копоты человеческая жизнь ощущалась чем-то временным, случайным, почти ничего не значащим. Пока паровозы осматривали, заправляли углём и водой, люди металась по перронам, отчаянно высматривая своих — детей, матерей, мужей, — по несколько раз пересчитывали их, будто боялись, что кто-нибудь исчезнет прямо у них на глазах. И боялись не зря: уследить за всеми было невозможно.

Дети, впервые за долгое время почувствовав относительную безопасность, вырывались из рук, бегали, разминая затёкшие ноги, смеялись, кричали, словно стараясь выплеснуть всё напряжение, накопившееся за этот бесконечный путь. Взрослые же, наоборот, были сжаты, сосредоточенны и устали: кто искал туалет, кто с закопчённым чайником метался в поисках кипятка, а кто просто стоял, потерянно глядя перед собой.

Главное было — не потеряться, заранее приметить свой вагон, колонну, табличку — хоть что-нибудь, за что можно будет зацепиться взглядом и вернуться назад. Поезда уходили быстро, без предупреждения, никого не ожидая. Если отстал — значит, сам виноват. Выкручивайся как можешь.

И всё же, несмотря на эту жестокую, беспощадную суету, Мария вдруг с холодком внутри представила, что было бы, окажись она здесь одна, без матери, без этой тихой, незаметной опоры рядом. От одной этой мысли ей стало по-настоящему страшно, и она поспешно отогнала её, почти упрямо повторяя про себя, словно заклинание, словно единственную возможность не рассыпаться изнутри: нельзя... нельзя думать так. Нужно держаться за хорошее. Всё устроится. Должно устроиться.

Мысли невольно вернулись к Василию. Где он сейчас? Что делает? Жив ли? Сначала она привычно, почти автоматически ответила себе, что, конечно, с ним всё хорошо. Он сильный. Он справится. Он всегда справлялся. За ним было спокойно, как за каменной стеной. Но уже в следующую секунду что-то внутри резко оборвалось: нет. Его нет рядом. И это была единственная правда.

Мария глубоко вдохнула, стараясь собраться. Она понимала, что теперь всё лежит на ней: решения, ответственность, дети, дорога, неизвестность впереди. Помощи ждать неоткуда. Мать уже стара, и эта бесконечная дорога, переезды, неустроенность могли окончательно её сломать. Значит, рассчитывать приходилось только на себя.

Поглядывая на засыпающую Джульетту, Мария сама не заметила, как начала клевать носом. Усталость накатила внезапно, будто кто-то просто выключил внутри неё силы. Она прислонилась спиной к холодной стенке вагона, закрыла глаза и уже сквозь сон вдруг подумала, какое всё-таки странное и красивое имя у её маленькой дочери — Джульетта.

Это, конечно, Василий придумал. Он был настоящим театралом. Не пропускал почти ни одного спектакля в их народном театре, особенно если ставили «Ромео и Джульетту». После тяжёлого рабочего дня, проведённого среди малолетних преступников, он всё равно шёл в театр, сидел, затаив дыхание, а потом ещё долго рассказывал об актёрах, о сценах, о смысле увиденного. Мария не всё понимала в его рассуждениях, но чувствовала, что театр был для него чем-то очень важным, почти необходимым, как воздух. Наверное, именно так он спасался — от серости, от постоянного напряжения, от того, о чём никогда не говорил.

Она вообще мало знала о его работе и не спрашивала, потому что интуитивно чувствовала: не надо. Но иногда у неё всё же возникала мысль: как он вообще оказался на такой должности, такой молодой? Ведь это требовало образования, опыта, чего-то большего, чем просто способность командовать. А он был рядом — понятный, простой и вместе с тем словно скрывавший в себе какую-то глубину, до которой она так и не сумела добраться.

Однажды, перед стиркой, проверяя карманы его гимнастёрки, она нащупала командирскую книжку — обычную, потёртую, обёрнутую в самодельную обложку, чтобы не истрепалась. Когда Мария раскрыла её, из-под обложки выглянул уголок плотного картона. Она осторожно потянула его. Это оказалась фотография.

Мария замерла.

С фотографии на неё смотрел мужчина, удивительно похожий на Василия. Только значительно старше. Лицо было почти тем же: вытянутое, с такими же крупными миндалевидными глазами, тем же тонким носом, той же складкой у губ, появлявшейся всякий раз, когда он сдерживал эмоции. Но в этом лице было что-то ещё — тяжесть прожитых лет, опыт, какая-то внутренняя сила. И форма на нём была белогвардейская: эполеты, аксельбанты, галуны, на груди — кресты.

Сначала Мария тихо усмехнулась, прикрыв рот ладонью. Конечно... театр. Роль. Вася вполне мог надеть такой маскарадный костюм. Да и возраст легко объяснить гримом. Но чем дольше она всматривалась в фотографию, тем меньше её устраивало такое объяснение. Это было не переодевание. Не игра. Не грим. Перед ней был другой человек. И всё же — тот же.

И тогда впервые в ней шевельнулась осторожная, почти испуганная мысль: а вдруг это не он, а его отец? Это слово прозвучало внутри неожиданно ясно. Мария поспешно убрала фотографию обратно, словно боялась, что она способна что-то изменить, если подержать её в руках ещё немного, и решила не спрашивать — не потому, что не хотела узнать правду, а потому, что почувствовала: есть вещи, которых лучше не касаться.

Равномерный стук колёс убаюкивал. Анфиса осторожно сняла Джульетту с рук Марии, стараясь не разбудить ни мать, ни ребёнка. Тук-тук... Тук-тук...

Под потолком вагона раскачивалась керосиновая лампа, отбрасывая тёплый, рыжеватый свет, и казалось, что вместе с ней покачивается всё вокруг: люди, стены, тени, даже ночь за окном. Деревья медленно скользили мимо, чёрные облака тянулись по небу, и в какой-то момент возникало странное ощущение, будто качается не поезд, а сама страна — огромная, тяжёлая, потерявшая равновесие.

Пока Мария спала, Анфиса решила поесть, потому что день выдался тяжёлым, а впереди ждала неизвестность, и лечь на пустой желудок казалось неправильным. Она достала из чемодана узелок с салом и сухарями, аккуратно расстелила тряпицу, нарезала сало небольшими кусочками, раскрошила сухари, и дети тут же потянулись к еде.

Всю дорогу они питались скудно: сало, сухари, кипяток из общего бака. Но жили. Держались до станции Ивдель. Оттуда — на подводах, по разбитой дороге, через лес, в деревню Малая Талая.

Их привезли прямо на площадь перед правлением колхоза. Люди уже ждали. Стояли молча и смотрели.

— Тпру-у... — протянул возница, натягивая вожжи. — Доставил... в целости...

Никто сразу не ответил. Люди лишь разглядывали приезжих — не с подозрением, а с участием, с пониманием, потому что здесь хорошо знали, что такое беда.

Староста, Пётр Евсеевич, вышел вперёд.

— Из Белоруссии?

— Из Могилёва... — тихо ответила Мария.

Он кивнул и, обернувшись к односельчанам, сказал:

— Ну что, так и будем стоять да смотреть? Или кто-нибудь хочет слово сказать?

Из толпы вышла женщина. Звали её Марфа Ивановна.

— Пусть ко мне идут. Дом большой. Места всем хватит, — сказала она тихо и ободряюще подмигнула съёжившимся детям.

Люди начали расходиться, но вскоре стали возвращаться — с узелками, банками, одеждой. Кто принёс мёд, кто крупу, кто хлеб, кто ещё что-нибудь. Делились не лишним — своим, потому что всё было понятно без объяснений.

В избе пахло хлебом — тёплым, ржаным, домашним. Марфа достала из печи чугунок с распаренной редькой, поставила его на стол рядом с картошкой, луком и хлебом и просто сказала:

— Ну вот... теперь заживём.

И Мария вдруг почувствовала, как внутри, где всё это время было сжато и напряжено, что-то медленно, осторожно отпускает.

Анфиса прикрыла лицо платком и тихо заплакала. В этом плаче было не только горе. Было облегчение. Они добрались. Они выжили. Их не бросили на произвол судьбы.

Глава 6. Краткое описание жизни в эвакуации

Появление семьи Коноваловых в Малой Талой пришлось на самый жаркий месяц лета — июль.

В Свердловской области это время года вступало в свои полные права. Леса стояли могучей стеной: густые ельники теснили березняки, березняки переходили в заросли орешника. На полянах белели стройные стволы осин, а внизу шумела высокая трава. По оврагам поспевала земляника, в тенистых местах темнели морошка и черника — настоящее раздолье для детворы. Солнце не обжигало, но светило долго, не уходя за горизонт до позднего вечера. Воздух был густо пропитан запахом хвои и прогретой земли.

Жизнь в деревне сразу втянула их в свой размеренный, трудовой ритм. Старшие дети помогали по хозяйству. Сыновья Марфы Ивановны — Саша и Коля — были ещё совсем мальчишками, но уже по-деревенски сноровистыми. Саша держался степенно, словно маленький хозяин: наколоть дров, натаскать воды из колодца — всё брал на себя без лишних слов. Коля, младший всего на год, не отставал: прополет грядки, накормит кур, выметет половицы до чистоты.

Томас, Марек и Барбара, по городским привычкам ещё немного скованные, первое время держались осторожно, но быстро освоились. Они учились у Саши и Коли, перенимали деревенскую сноровку и вскоре уже работали наравне со всеми. Общий труд быстро сблизил детей, а вечерние походы за ягодами стали для них настоящим праздником. Они носились по оврагам, словно ягнята, возвращаясь домой усталыми, перепачканными черникой и счастливыми.

За это время Мария раскрылась как искусная портниха. Пока Анфиса нянчила маленькую Джульетту, она латала валенки, перешивала старые рубахи и постепенно стала обшивать почти всю деревню. За работу люди приносили ей ткань, нитки, иглы — всё, чем могли поделиться. Бедность не разъединяла их. Наоборот, она делала людей ближе. Общий труд и общая нужда постепенно превращали жителей деревни в одну большую семью.

К концу лета в воздухе уже чувствовалось приближение осени. Первыми потянулись на юг журавли. Берёзы начали желтеть, а лес наполнился грибами. Старики уходили в бор за груздями, подберёзовиками и лисичками, сушили их на зиму. В реке Талой ловили рыбу, солили её, коптили — в каждом дворе уже готовились к долгой уральской зиме. В воздухе стоял густой запах сушёных грибов и дыма.

С наступлением холодов жизнь стала ещё суровее. Зима пришла внезапно и уверенно, как это всегда бывало на Урале. Морозы доходили до тридцати, а порой и до сорока градусов. Люди закутывались в ватники, меховые полушубки и валенки, привыкали к скрипящему под ногами снегу и дверям, намертво примерзавшим за ночь. Над деревней почти постоянно висел дым из печных труб, а воздух стал сухим, прозрачным и звенящим от мороза.

Школа находилась в пяти километрах от деревни. Дорога к ней проходила через сосновый бор. Волки иногда появлялись по ночам, но деревенские уже не боялись их так, как прежде: дети подросли, окрепли, стали смелее, и даже само чувство страха словно отступило.

Отношения между Анфисой, Марией и Марфой Ивановной постепенно переросли в настоящее родство. Их объединяли крестьянское происхождение, тяжёлая судьба и отсутствие мужей. Они жили одними заботами, одним трудом, и со временем даже дети стали восприниматься как общие.

Анфиса почти всегда носила платок, скрывая обезображенное лицо. На расспросы отвечала мягко и уклончиво, объясняя, что не хочет пугать детей. Постепенно к этому привыкли, и лишних вопросов больше никто не задавал.

К концу октября зима окончательно вступила в свои права. Снег лёг плотным покровом, деревья застыли в серебристом инее, а тайга словно притихла. Солнце светило тускло и почти не грело. По ночам вокруг деревни снова стали появляться волки, и их протяжный вой в морозном воздухе звучал особенно тоскливо.

Однажды Клавдия Серафимовна, жившая в доме напротив, ушла в соседнюю деревню и не вернулась. На следующее утро в лесу нашли только следы борьбы на снегу да разорванные, окровавленные валенки, в которых не осталось даже клочка плоти. Всё было обглодано. В деревне долго молчали об этом, но жизнь, как всегда, не остановилась — она лишь стала тише и осторожнее.

Джульетта тем временем росла. Свои первые шаги она сделала быстро, торопливо, словно спешила навстречу миру. Первой подхватила её на руки не мать, а Анфиса, и девочка тянулась к ней с удивительным доверием. Мария, увидев это, почувствовала короткий укол ревности, но тут же поняла: сама она слишком часто была занята, чтобы дочь постоянно искала именно её.

Сыновья тоже повзрослели. Томас и Марек уехали учиться в ремесленное училище на токарей. Барбара продолжала ходить в школу и уже всерьёз мечтала стать учительницей.

Весной 1945 года всё вокруг изменилось. Снег сошёл рано, у самого крыльца появились первые подснежники. В деревне жила уже не только память о войне, но и ожидание её конца.

Анфиса не дожидаясь Победы. Она умерла тихо, во сне, так и не проснувшись утром. Ещё накануне сидела с Джульеттой на руках, потом вдруг тихо вскрикнула, словно увидела что-то недоступное другим, и снова затихла. Утром разбудить её уже не смогли.

А потом пришёл май.

Из репродуктора у сельсовета разнёсся долгожданный голос:

— Победа! Германия капитулировала!

Деревня ожила. Люди плакали, смеялись, обнимали друг друга. Над площадью снова зазвонил колокол. Впервые за долгие годы над деревней стоял не только дым печных труб, но и ощущение настоящей радости.

Мария держала на руках Джульетту, и девочка, словно чувствуя всеобщее ликование, старательно повторяла вслед за взрослыми:

— По-бе-да...

Вечером вынесли длинные столы, открыли самогон. Федька играл «Амурские волны», и люди танцевали прямо на сырой земле. Женщины — с женщинами. Мужчины ещё не вернулись с войны.

Но вместе с радостью пришло и время расставания.

Было решено возвращаться в Могилёв.

Утром подвода уже стояла возле сельсовета. Люди пришли заранее. Они молча наблюдали, как семья Коноваловых собирается в дорогу. За эти годы она стала для них своей.

Мария поднялась на подводу и долго не могла произнести ни слова. К горлу подступил ком. Наконец она справилась с собой и тихо сказала:

— Спасибо вам... за всё. Вы нас спасли.

Староста покачал головой.

— Это вы нас спасли, — спокойно ответил он. — Без вас и нам пришлось бы тяжело.

Подвода медленно тронулась.

И тогда вся деревня пошла следом — до самой окраины, до последней избы. Так они и расстались — будто ненадолго, но на самом деле навсегда.

Глава 7. Возвращение в Могилёв

Паровоз, постепенно сбавляя ход, подтягивал к станции «Могилёв» длинный состав пассажирских вагонов с возвращенцами. После долгой войны страна, несмотря на разруху и управ-

ляемый хаос, всё ещё находила силы возвращать людей домой — в разрушенные, но по-прежнему родные города.

Разбитые перроны и наскоро восстановленные рельсы обозначали место, где когда-то находился вокзал. Самого здания уже не существовало — на его месте зияла огромная воронка от авиационной бомбы.

Поезд остановился.

— Могилёв-Пассажирский! Конечная! — громко объявила проводница.

Это была яркая, ухоженная женщина в аккуратно подогнанной форме, с тщательно уложенными кудрями и ярко-красной помадой на губах. Её голос прозвучал слишком бодро на фоне общей усталости.

Люди зашевелились, подхватывая нехитрый багаж, и потянулись к выходу.

Ночью, во время остановки в Брянске, в вагон подсел молодой капитан пехоты — орденосец. От предложенного чая он отказался, но всякий раз, когда проводница проходила по вагону, собирая стаканы, провожал её долгим взглядом. В этом твёрдом, уверенном взгляде читались одновременно решительность и какая-то мальчишеская мечтательность.

Позже он вышел покурить в тамбур и вернулся только под утро. Улыбнулся проснувшегося Мареку, легко запрыгнул на верхнюю полку и почти сразу уснул.

Теперь, уже на станции, проходя мимо проводницы, он по-военному лихо отдал ей честь и пообещал обязательно написать. Она смущённо улыбнулась и скрылась за дверью служебного купе.

Марек, нагрузившись тюками до предела, первым спрыгнул на разбитый перрон и остался сторожить вещи, внимательно поглядывая по сторонам. Следом осторожно спустился Томас, удерживая на плече швейную машинку — их главную опору и единственную надежду на будущий заработок. Мария, державшая на руках Джульетту, замыкала шествие, а Барбара, оказавшись на шаг впереди, помогла ей сойти на гравий, пропитанный запахом солянки и пылью.

— Осторожнее с ней, — сказала Мария, имея в виду швейную машинку. — Это наша кормилица.

— Не волнуйся. Держу крепко, — ответил Томас.

Вокруг было шумно и многолюдно. Станция жила своей беспорядочной жизнью: перебивались люди, звенел металл, где-то грохотали доски на пилорамах, раздавались свистки милицейских патрулей. Неподалёку, по запахам, шуму и многоголосому гулу, угадывался стихийный рынок — пёстрый, живой, где продавалось всё: от жареных семечек до редких трофейных вещей.

Запах жареного теста и свежих пирожков напомнил Марии, что дети давно ничего не ели. Они подняли вещи и направились на шум, ориентируясь по голосам и многолюдному гулу.

Однако далеко уйти не успели. Их остановил военный патруль.

Трое: молодой старший лейтенант и двое сержантов с автоматами.

— Здравия желаю. Гарнизонный патруль. Старший лейтенант Завьялов. Ваши документы, пожалуйста, — сказал офицер.

Мария спокойно развязала узелок.

— Вот паспорт. И проездные документы на меня и детей.

Лейтенант взял бумаги и принялся внимательно сверять фотографию с её лицом. За годы эвакуации Мария почти не изменилась — редкая, почти необъяснимая устойчивость ко времени. На её лице не было заметно следов изнурительной жизни. Только собранность, спокойствие и какая-то внутренняя строгость.

На мгновение взгляд офицера задержался на фотографии.

И только теперь Мария невольно отметила, какой он молодой — почти мальчишка. Рыжеватые брови, светлые ресницы, лицо, усыпанное веснушками, и едва заметная неуверенность, которую он старательно прятал за безупречной выправкой.

Она смотрела на него спокойно, без вызова и без любопытства — так смотрят люди, давно принявшие свою судьбу и уже не ожидающие от случайных встреч ничего особенного.

Документы он вернул чуть медленнее, чем того требовала служба.

— Где ваш муж? — наконец спросил он.

По тому, как прозвучал этот вопрос, чувствовалось, что молодого офицера он интересуется не только по долгу службы.

Мария ненадолго отвела взгляд.

— Думала, он встретит нас... Последнее письмо пришло из Берлина, полгода назад. Он писал, что всё в порядке и скоро выезжает в Могилёв. После этого — тишина.

Она говорила спокойно, но в голосе слышалась усталость человека долго прожившего ожиданием.

— Почта в те годы... сами понимаете, — добавила она уже тише. — Думаю, он уже где-то здесь.

Лейтенант немного помолчал.

— Думаю, вы обязательно встретитесь, — сказал он. — Но сначала вам лучше пройти в комендатуру. Там смогут сообщить всё, что известно. А мы поможем донести вещи.

Казалось, он хотел сказать что-то ещё, но ограничился официальной вежливостью.

Военные подняли поклажу и повели семью через дворы и заросшие пустыри, сокращая дорогу к центру города.

Мария шла последней, держа Джульетту за руку. Девочка не поспевала за взрослыми, и тогда мать подняла её на руки. Джульетта сразу оживилась, прижалась к матери и, указывая пальцем вперёд, радостно повторяла:

— Туда! Туда!

Мария крепче прижала дочь к себе и молча пошла дальше —туда, где начиналась их новая, ещё неизвестная жизнь.

Глава 8. Комендатура

Могилёвская военная комендатура размещалась в одном из немногих уцелевших после немецких бомбёжек зданий, всё ещё пригодных для работы. До революции здесь находился доходный дом купца Осколкова. Во время оккупации верхние этажи немцы приспособили под общежитие для офицеров, а на нижних разместили полицейский участок. Серое, ничем особенно не примечательное здание насчитывало десятки кабинетов, где машинистки ловкими пальцами отбивали дробь на клавишах печатных машинок, а рой молодых, но уже успевших получить боевые награды офицеров непрерывно сновал по длинным коридорам, заглядывая то в один кабинет, то в другой, словно сама эта бесконечная суета должна была оправдать существование огромного аппарата, которому вскоре предстояло неизбежное сокращение.

Военный комендант, майор Загуляйко, сидел за письменным столом в прокуренном кабинете, с папиросой, зажатой в углу рта. Из-за густого дыма он щурил один глаз, почти не замечая этого, и внимательно просматривал ежедневные сводки о положении в городе. Густые брови, сошедшиеся к переносице, выдавали крайнюю сосредоточенность. Гладко выбритые щёки и подбородок отливали синевой, кончики густых усов были лихо закручены вверх, маслянисто-голубые глаза чуть выдавались вперёд, широкий нос картошкой завершал лицо человека, в котором без труда угадывался уроженец Украины.

Майор Загуляйко был настоящим героем войны. Его запорожские предки могли бы по праву им гордиться. Всю войну он прослужил в разведке, не раз смотрел смерти в глаза, но она всякий раз отступала. Коренастый, широкоплечий, он не раз пробирался в тыл противника, ловко перерезая штыком проволочные заграждения. Уже под самый конец войны, неся на себе очередного захваченного «языка», Загуляйко попал под миномётный обстрел. Взрывом ему оторвало ступню. Преодолевая боль, он оглушил пленного тяжёлым ударом кулака, чтобы тот не вырывался, и всё-таки дотащил его до своих. «Язык» оказался чрезвычайно ценным, а сведения, полученные позже на допросе, сыграли важную роль. За этот подвиг Загуляйко получил звание Героя Советского Союза и с тех пор редко расставался с Золотой Звездой, даже дома.

Секретарша Клава, привлекательная женщина лет тридцати пяти, с причёской «победные валики» и ярко накрашенными губами, неторопливо пила чай из стакана в ажурном металлическом подстаканнике и с нескрываемой теплотой наблюдала за майором через приоткрытую дверь. Какой же всё-таки мужчина... Настоящий красавец. Она бы, не раздумывая, хоть сейчас пошла с ним под венец. И плевать, что без ноги. Какой же он калека? Скорее наоборот.

Она невольно улыбнулась, вспомнив, как однажды Загуляйко, немного навеселе, постукивая тростью по протезу, скрытому в начищенном до блеска хромовом сапоге, весело сказал:

— Вот и все преимущества налицо. Ежели кому таким агрегатом под зад дать, самому больно не будет.

И громко, от души, расхохотался.

Именно в такие минуты Клава особенно ясно понимала, за что успела его полюбить. Он был настоящим.

Шум в коридоре заставил Клаву отвлечься от своих мыслей. В приёмную вошли старший лейтенант Завьялов, двое солдат, несущих поклажу, и Мария с детьми.

— Здравия желаю, — обратился офицер к секретарше. — Мне бы к товарищу майору.

— По какому вопросу?

— Из эвакуации прибыла жена фронтовика с детьми. Муж должен был встретить их, но, похоже, они разминулись.

— А жить они где собираются? — уже с видом полноправной хозяйки приёмной спросила Клава.

— В этом-то и вопрос. Пока не знаем.

Клава внимательно посмотрела на Марию и сразу поняла, отчего молодой лейтенант так хлопочет. Мимо такой женщины трудно было пройти равнодушно.

— Ясно. Подождите минуту.

Она скрылась за дверью кабинета майора Загуляйко.

Через минуту на пороге появился сам комендант. За его спиной стояла Клава.

Старший лейтенант вытянулся по стойке смирно и, представившись, коротко доложил о случившемся.

— Да знаю уже, — перебил его майор. — Не глухой.

Он выпустил струю дыма и заговорил спокойно, словно заранее обдумал всё, что собирался сказать:

— Вот что. Город разрушен почти до основания. Несколько домов уцелело, но они переполнены — люди там живут, как огурцы в бочке. Остальные ютятся в землянках, которые сами себе и роют. Правда, по ленд-лизу начали поступать сборные, так называемые финские домики. Через месяц приступим к их установке. А пока одна землянка освободилась. Временно поживёте там. Большого предложить, к сожалению, не могу.

— Вы случайно... о моём муже ничего не слышали? — тихо спросила Мария.

— Фамилия? Звание?

— Политрук первого ранга Коновалов. Василий Петрович Коновалов.

— Та-ак... Стало быть, подполковник Коновалов... Знакомая фамилия...

Майор помрачнел. Взгляд стал отсутствующим. Он словно лихорадочно искал нужные слова, понимая, что любая неосторожная фраза сейчас может оказаться слишком жестокой.

Не говоря больше ни слова, Загуляйко развернулся, слегка потеснив Клаву, и прошёл в кабинет. Ящик письменного стола заело. Он дёрнул его раз, другой, потом поддел лезвием трофейной финки. Ящик нехотя подался.

На самом дне лежал сложенный треугольником фронтовой конверт.

Майор не сразу подошёл к Марии. Несколько секунд он стоял неподвижно, держа письмо за самый уголок и едва заметно покачивая его в пальцах, словно пытался собраться с духом прежде, чем передать.

Потом молча протянул его.

— Вот... Уже почти полгода лежит у меня в столе.

Мария растерянно посмотрела сначала на письмо, потом на майора.

— Что это?

— Не знаю, — тихо ответил он. — Видимо, почта долго вас разыскивала, а потом переслала письмо в комендатуру. Лучше прочитайте сами.

Майор засунул руки в карманы галифе, отвернулся к окну и замолчал. За стеклом ветер раскачивал густые кроны деревьев.

Мария осторожно развернула фронтовой треугольник.

Народный комиссариат обороны СССР

Извещение

Ваш муж,

Василий Петрович Коновалов, подполковник, 1903 года рождения,

в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество,

в январе 1945 года пропал без вести.

Военный комиссар г. Магдебурга.

Подпись. Печать. Дата.

И всё.

В одно мгновение руки и ноги стали ватными. Перед глазами потемнело. Земля словно ушла из-под ног.

Лист выскользнул из ослабевших пальцев не сразу. Уже полностью развёрнутый, он медленно поплыл вниз, будто и сам не хотел становиться последней вестью о человеке, которого ещё совсем недавно ждали.

Стоявшие рядом солдаты успели подхватить Марию.

Письмо, едва качнувшись в воздухе, бесшумно легло на пол.

В кабинете стало так тихо, что слышно было только, как за окном шелестит листва.

Глава 9. Нежданная помощь

Резкий запах нашатыря ударил в нос. Мария открыла глаза. Она лежала в приёмной. Дети стояли на коленях, склонившись над ней. Кто-то заботливо подложил ей под голову вещевой мешок.

Барбара, едва сдерживая страх, гладила мать по волосам. Марек и Томас держали её за руки. Джульетта же, ещё не понимая, что произошло, освободившись от всеобщей опеки, весело бегала из угла в угол.

Пока Мария находилась без сознания, Барбара успела вслух прочитать извещение. Слова «пропал без вести» поселили в сердцах ещё совсем юных детей надежду. Для них это означало одно: отец не погиб. Значит, он ещё может вернуться.

Майор Загуляйко, повидавший за войну слишком многое, смотрел на случившееся иначе. Он хорошо понимал, что надежды почти не осталось. Хотя... жизнь порой преподносила и такие неожиданности. Поэтому он решил поддержать Марию.

— Очнулась, красавица, — сказал он. — Ты это... не убивайся раньше времени. Не погиб же. Без вести пропал. Подожди. Может, ещё найдётся. Всякое бывает. У меня таких случаев знаешь сколько было? Во... сколько. Уже и похоронить человека успели, а он вдруг возвращается — живой, здоровый. Так что духом не падай. Сейчас патрульные проводят вас до жилья, а я потом как-нибудь загляну, посмотрю, как устроились. Ну вот и ладно. Старшой, давай в темпе вальса. Дел у меня по горло. Адрес получите вон у неё.

Майор открытой ладонью указал на притихшую Клаву.

Обладая тонкой женской интуицией, Клава неожиданно для самой себя почувствовала лёгкий укол ревности. Слова майора о том, что он собирается навестить Марию, ей совсем не понравились.

«Хотя... если разобраться, к кому ревновать? Детей у неё мал мала меньше. Да и я моложе... Чего это я, дура?» — подумала она и невольно улыбнулась самой себе.

— Вот и прибыли, — объявил Завьялов, выгружая поклажу из кузова полуторки.

— Здесь пока и будете жить. Конечно, временно.

Он указал на крышу землянки, густо поросшую мхом и торчавшую из земли, словно большой лесной гриб.

— Если что понадобится — обращайтесь. Честь имею.

Нетипично для самого себя Завьялов снял фуражку, слегка склонил голову и щёлкнул каблуками.

Через мгновение он уже сидел за рулём полуторки. На прощание махнул детям рукой и тронулся в сторону комендатуры.

Но, проехав несколько десятков метров, неожиданно нажал на тормоз. Завьялов ещё несколько секунд сидел неподвижно... потом решительно открыл дверцу.

Мария услышала его лёгкие шаги, поставила уже поднятый тюк обратно на землю и, обернувшись, с удивлением посмотрела на молодого офицера.

— А можно... я буду иногда вас навещать? — немного смущаясь, явно чувствуя неловкость из-за присутствия детей, спросил лейтенант, вкладывая в эти слова далеко не только служебный смысл.

— Конечно, заходите. Мы все вам будем очень, очень рады, — почти машинально, с отрешённым, пустым взглядом ответила Мария, сама не придавая своим словам никакого значения.

Она тут же отвернулась, снова подхватила тюк и ногой толкнула перекошенную дверь землянки. Та жалобно скрипнула и медленно распахнулась.

Мария вошла первой.

Изнутри пахло сырой землёй, холодом и застоявшейся сыростью.

Завьялов, как и многие фронтовики, вернувшиеся с войны живыми, привык жить сегодняшним днём. Молодость не позволяла ему до конца понять, что сейчас происходило с Марией.

«По сути, мужа уже нет... Значит, поплачет — и жизнь пойдёт дальше. Все через это проходят. Неужели можно убиваться бесконечно?» — размышлял старший лейтенант, крутя баранку полуторки и подпрыгивая вместе с машиной на разбитой дороге.

Кроме сырости и полумрака, семья Коноваловых обнаружила в землянке деревянные двухъярусные нары, сколоченные из толстых брусьев. Говорили, что лес для них заготавливали немецкие военнопленные на пилораме в соседней деревне. Лесов вокруг хватало, как, впрочем, теперь и немецких военнопленных.

Три пары нар, рассчитанные на шесть человек, стояли вдоль стен.

Посередине находились почти новый деревянный стол и две табуретки, когда-то спасённые из-под обломков разрушенных домов. Земляной пол был густо устлан хвойными ветками.

У самого входа стояла печка-буржуйка с закопчённой трубой, уходившей в крышу, и стальной плитой, на которой можно было готовить пищу.

Дневной свет проникал в землянку через открытую дверь и широкие щели между крышей и стенами. По вечерам здесь тлела лучина, а если удавалось раздобыть керосин, зажигали керосиновую лампу.

Туалет — обычная выгребная яма с дощатой надстройкой — и умывальник находились рядом с землянкой. Воду носили вёдрами от общей колонки. Неподалёку стояла и общая баня на два десятка землянок, разделённая на мужское и женское отделения. Пользовались ею главным образом зимой.

Томас с Марексом из досок, предприимчиво подобранных на улице, соорудили простые полки и расставили на них всю хозяйственную утварь, привезённую из эвакуации: ножи, алюминиевые ложки, вилки, кружки, миски, солонки и даже маленькое ситечко для заварки — подарок хозяйки Марфы Ивановны. Благодаря этим полкам отпала необходимость каждый раз рыться в мешках.

Вещи оставались всё теми же — других у них попросту не было.

Швейную машинку бережно поставили на стол, решив, что это самая ценная вещь в доме, от которой зависит их будущее, а поесть можно и сидя по углам.

Льняные мешки набили соломой — получились подушки. На нары густо набросали хвой, сверху постелили старые, но выстиранные солдатские шинели, которые по протекции коменданта выдали на военном складе. Ими же укрывались ночью, завернувшись, словно в толстые одеяла: размер шинелей это позволял, если предварительно отстегнуть задний хлястик.

Барбара помогала матери присматривать за Джульеттой, пока Мария готовила на буржуйке похлёбку из картофельных лупин — так в Белоруссии называют картофельные очистки.

Стоял август. Ветки фруктовых деревьев сгибались под тяжестью плодов, наливалась малина, а в сосновом бору вокруг вековых сосен сплошным ковром расстилалась черника.

Дети, да и сама Мария, ели всё, что можно было найти в лесу и садах, тщетно пытаясь заглушить постоянное, мучительное чувство голода.

И всё же, несмотря ни на что, это было счастливое время — война закончилась, а значит, самое страшное, как тогда казалось, осталось позади.

До войны и во время эвакуации Мария с детьми и ещё живой тогда Анфисой жили сравнительно благополучно. По крайней мере условия их жизни можно было назвать терпимыми. Поэтому весь ужас нынешнего существования она осознала далеко не сразу. Ей всё ещё казалось, что стоит лишь моргнуть — и всё исчезнет, словно случайная помеха перед глазами. Но действительность оказалась гораздо суровее.

Дни и ночи проходили словно во сне. Марии всё ещё казалось, что происходящее случилось не с ней, а с кем-то другим, и стоит только вернуться Василию — как этот тяжёлый, затянувшийся кошмар закончится, а она наконец проснётся в прежней, счастливой жизни.

Но Василий не возвращался.

От депрессии её, пожалуй, спасало лишь одно: вокруг люди жили точно так же.

Она с удивлением наблюдала за женщинами и мужчинами, которые, казалось, давно привыкли к этой жизни: ходили в уличный туалет, стирали в ледяной воде, варили похлёбку из картофельных лупин и словно уже ни о чём другом не мечтали.

И всё же она всё чаще думала о том, как мало человеку нужно для счастья.

Всего лишь мирное небо над головой. И возможность дышать.

Глава 10. Дети

Марек за минувшие годы заметно повзрослел, вытянулся, раздался в плечах и возмужал. На лице у него только начинал пробиваться мягкий юношеский пушок, однако гормоны уже вовсю играли в крови, и на девушек он всё чаще поглядывал с вполне осознанным интересом.

Томас тоже подрос, и осенью они вместе должны были поступить в ремесленное училище учиться на токарей. Но, в отличие от брата, который был старше на год, он пока не проявлял особого интереса к противоположному полу. Конечно, он понимал, что существуют девочки, что они красивые и что парни на них засматриваются, однако в его голове прочно засела совсем другая мысль — о еде.

Постоянное, неотступное чувство голода преследовало его с утра до ночи, не давая покоя ни телу, ни мыслям.

Словно первобытный человек, он занимался настоящим собирательством: бродил по лесу, заглядывал в кустарники, обследовал поляны и опушки, выискивая хоть что-нибудь съедобное. В ход шло всё: ягоды, травы, какие-то корешки, случайно найденные плоды. До червей он пока ещё не дошёл.

Со временем Томас научился улавливать запахи еды, доносившиеся из соседних деревень, и, словно маленький лесной зверёк, тянулся к ним в надежде выпросить или раздобыть хотя бы кусок хлеба, чтобы ненадолго заглушить это грызущее изнутри чувство.

Однажды на дороге ему попалась кем-то обронённая коробка спичек, и в голове сразу возникла простая, почти счастливая мысль: наловить рыбы, развести костёр, испечь её и съесть самому, ни с кем не делясь, наконец насытившись досыта.

Но снастей у него не было.

Тогда он вспомнил прочитанную когда-то книгу, герой которой ловил рыбу заострённой палкой. Найдя подходящую ветку, Томас долго тёр её о камень, терпеливо заостряя конец, а затем, затаившись у воды, попытался пронзить карпа, неподвижно стоявшего в небольшом озере.

Но карп, почувствовав опасность, мгновенно ушёл в мутную глубину, подняв со дна густой ил.

Томас сразу понял, что рыбак из него никудышный.

Тогда он отправился к зарослям малины, густо красневшей среди кустов, и ел её до тех пор, пока не объел почти всё, до чего только мог дотянуться.

Когда кусты были окончательно обобраны, Томас вспомнил мамину похлёбку из картофельных лупин с капустой, луком и морковью. Её всегда не хватало, и, как бы ни хотелось попросить ещё, брать больше своей доли было нельзя — кроме него, за столом сидели брат и сёстры, и каждый получал одинаковую порцию жидкой овощной болтанки.

Просить добавки Томас стеснялся.

Он мечтал совсем о другом — однажды раздобыть столько лупин, чтобы мама смогла сварить целое ведро похлёбки, а он наконец наелся бы досыта.

Размышляя об этом и предаваясь своим нехитрым фантазиям, Томас сам не заметил, как вышел к какой-то столовой со стороны кухни.

Что это была за столовая, он не знал.

На заднем дворе, устроившись на деревянных ящиках, сидели три молодые девушки и маленькими ножиками чистили картошку. Для удобства они подвернули платья чуть выше колен, обнажив белые ноги, но даже окажись они совсем без одежды, Томас всё равно ничего бы не заметил.

В его голове была только еда.

Он робко подошёл к девушкам, но в этой робости чувствовалась решимость человека, которого нужда почти довела до отчаяния, и спросил, что они делают с картофельными лупинами.

Девушки переглянулись и ответили, что обычно выбрасывают очистки, но сегодня он может забрать их себе, если они ему действительно нужны.

Одна из девушек, Наташа, сразу прониклась к мальчику особым чувством. Она мгновенно поняла, что этот худенький подросток буквально сходит с ума от голода. Бледный, исхудавший, с глазами, в которых жила одна только нужда, он вызывал уже не жалость, а тяжёлое, щемящее сострадание.

Пока счастливый Томас торопливо запихивал за пазуху целые охапки картофельных лупин, Наташа быстро сбегала на кухню и вскоре вернулась с небольшим мешком ржаных сухарей.

— На, возьми, — сказала она, протягивая мешок. — Ты же голодный.

Томас схватил его, горячо поблагодарил девушек, особенно Наташу, и, не теряя ни секунды, поспешил домой, желая как можно скорее обрадовать мать, брата и сестёр своей неожиданной добычей.

По дороге к земляному посёлку он уже представлял, как все обрадуются, особенно мама, а маленькая Джульетта наверняка сразу начнёт с удовольствием грызть сухари.

Влетев в землянку, Томас с гордостью вывалил свою добычу на стол.

Мария, увидев всё это, изумлённо вскинула руки и прижала ладони к щекам.

— Боже! — воскликнула она. — Откуда это всё? Ты что, украл?

— Да нет же, мама, не украл, — поспешно ответил Томас. — Всё хорошо. Меня просто угостили.

— Кто же в наше время так щедро угощает?

— Есть... хорошие люди. Я и вопросов лишних не задавал. Угостили — я взял. Поблагодарил и ушёл.

Мария внимательно посмотрела на сына.

— Ты говоришь мне правду?

— Конечно, мама. Чистую правду. Не беспокойся.

Она заметно успокоилась.

— Хорошо. Тогда повесь мешок над печкой — там сухарям самое место, не отсыреют. А с лупинами мог бы быть и поаккуратнее. Посмотри, всю машинку засыпал. Давай прибери, мне ещё строчить сегодня допоздна.

Томас осторожно сгрёб лупины, отодвинул их подальше от швейной машинки и, вытащив из брюк рубаху, тщательно вытер её подолом белёсые крахмальные пятна, оставшиеся на столе и металлическом корпусе машинки.

Уважение к швейной машинке в доме было почти безграничным. Каждый член семьи прекрасно понимал: именно она была их кормилицей, и именно благодаря ей они до сих пор держались на плаву.

Мария обладала главным талантом — талантом выживать.

Она удивительно быстро приспосабливалась к любым обстоятельствам, а её способности с каждым годом становились всё шире и крепче. Ещё за Уралом Мария перестала ограничиваться мелкими заказами и выучилась на закройщицу, а здесь, в городе, о ней очень быстро пошла добрая слава как о талантливой портнихе.

Заказы посыпались один за другим.

Во все времена женщины хотели нравиться мужчинам, поэтому приносили Марии отрезки ткани и просили сшить платье по последней моде. Вскоре о ней заговорили уже не просто как о портнихе, а как о настоящей модистке.

Но справляться одной становилось всё труднее.

Барбара помогала матери, однако осенью должна была вернуться к учёбе. Мария всё чаще не успевала выполнять заказы в срок, была вынуждена откладывать работу и прекрасно понимала, что рискует потерять клиентов. Но, как ни крути, будущее дочери было для неё важнее любого заработка.

Спустя некоторое время Томас начал встречаться с Наташей и познакомил её с Марией. Девушка неожиданно проявила искренний интерес к швейному делу. Тогда у Марии и появилась мысль понемногу обучать её ремеслу.

А Наташа, в свою очередь, познакомила Томаса со своей матерью — Зинаидой.

Зинаида была вдовой. Её муж героически погиб на фронте, и Наташа выросла без отца.

В свои сорок пять Зинаида выглядела прекрасно — моложавая, ухоженная, с живыми глазами и уверенной осанкой женщины, которая ещё слишком хорошо помнила, что такое мужское внимание. Траур давно остался позади, а жизнь требовала продолжения.

Проблема заключалась лишь в одном — мужчин почти не осталось. Они погибли на войне. Найти свободного, неженатого мужчину было практически невозможно.

И если бы Зинаида не знала себе цену, возможно, давно смирилась бы, довольствуясь случайными встречами с чужими мужьями. Но она слишком хорошо понимала, что всё ещё остаётся привлекательной женщиной.

Стройная, с высокой грудью, тонкой талией, выразительными бёдрами и редким сочетанием тёмных волос со светлыми глазами, она неизменно притягивала мужские взгляды.

Но жалкие семейные искатели приключений на стороне были ей малоинтересны.

Хотя... время от времени она всё же пользовалась ими.

Работала Зинаида бухгалтером в той самой столовой, где трудилась Наташа, и жила вполне обеспеченно.

Однажды, возвращаясь с работы, она случайно встретила Томаса и Наташу. С ними был Марек.

Томас сразу представил его как своего брата, и в тот же миг внутри Зинаиды словно что-то дрогнуло.

Она внимательно посмотрела на Марека, и её взгляд задержался на нём чуть дольше, чем позволяла обычная вежливость.

Перед ней стоял не просто юноша — перед ней была сама молодость: свежесть, сила, та живая энергия, которой ей так давно не хватало среди уставших, надломленных войной мужчин.

— Какое интересное у вас имя... Вы, наверное, поляк? — спросила она, не сводя с него глаз.

— По папе. Мама у меня белоруска, — ответил Марек.

— А может, зайдёте к нам? Чаю попью... с сахаром, — добавила она уже мягче, почти заискивающе.

Марек замялся.

— Да я не знаю... Мне ещё уроки делать надо.

— Ничего, уроки подождут, — спокойно, но настойчиво сказала Зинаида. — Наташа, зови.

В тесной прихожей их квартиры сразу сталолюдно. Лампочка под потолком освещала комод, зеркало, вешалку. Всё выглядело обыкновенно, но для Марека и Томаса даже такая квартира казалась роскошью.

Отдельная. Не коммуналка. Другой мир.

И именно здесь, в тесноте прихожей, Зинаида не упустила возможности сделать первый шаг.

Когда все, теснясь, начали разуваться, она, снимая босоножку, будто бы случайно покачнулась и, удерживаясь, опёрлась рукой о Марека — чуть выше бедра.

Прикосновение оказалось слишком точным и слишком долгим, чтобы быть случайностью.

Сначала Марек не придал этому значения. Женщина оступилась — он помог. Но Зинаида не убрала руку сразу. Она задержала её на одно короткое мгновение дольше, чем позволяла неловкость ситуации, а потом подняла глаза и посмотрела на него со своей спокойной, уверенной, уже давно отработанной улыбкой.

Марек замер. Что-то дрогнуло у него в груди, дыхание на миг сбилось, и он вдруг почувствовал, что это прикосновение было совсем не случайным. Но что делать дальше, он не знал.

Он лишь смущённо улыбнулся в ответ.

«Вот и попался мой дорогой поляк», — спокойно подумала Зинаида, уже понимая, что инициатива в этой истории будет принадлежать именно ей.

Во время чаепития Марек почти не сводил с неё глаз. Он ловил каждое слово, слетающее с её губ, вдыхал запах духов, сам не замечая, как всё глубже втягивается в это новое, тревожное для него чувство.

Зинаида видела это. И не спешила. Она умела ждать. Но умела и действовать. Поэтому уже в следующий раз сама встретила Марек после занятий у училища где он учился вместе с Томасом на токаря и, словно между прочим, предложила зайти к ней.

Он смутился. Смущение было детским. Марек чувствовал себя неловко, из-за того, что был грязным, да и глупым. Лицо, как и руки по локоть, были перепачканы машинным маслом, а металлическая стружка, слетавшая со станка, запуталась в волосах.

— Да я... в таком виде... — начал он, опуская глаза.

— Ничего, — спокойно, почти ласково перебила его Зинаида. — Приведёшь себя в порядок. И в её голосе прозвучало что-то такое, что не оставляло места для отказа.

Через полчаса Марек уже стоял в ванной её квартиры. Наклонившись над тазом, он зачерпывал воду алюминиевой кружкой и смывал с себя тяжёлую чёрную грязь. Вода стекала по плечам, унося машинное масло, металлическую пыль и накопившуюся за день усталость. Он стоял босиком, почти не двигаясь, будто прислушиваясь к самому себе. Мысли путались. Перед глазами снова и снова возникал её взгляд. Её улыбка.

То прикосновение в прихожей. Он не понимал до конца, что с ним происходит, но уже чувствовал — внутри что-то меняется, и назад всё равно уже не вернётся.

Дверь в ванную тихо приоткрылась. Не сразу он это заметил. Лишь когда воздух в комнате словно изменился, став теплее и плотнее, Марек поднял голову. В проёме стояла Зинаида. На ней был лёгкий халат, небрежно запахнутый, будто наспех. Она не торопилась. Просто смотрела. Спокойно, уверенно, изучающе.

Марек замер. Сейчас он уже не был тем уверенным, почти взрослым парнем, каким казался среди товарищей в училище. Перед ней он оказался растерянным, напряжённым, открытым — а потому беззащитным. Зинаида медленно шагнула вперёд. Каждое её движение было выверенным, спокойным, лишённым всякой суеты. Она подошла совсем близко. Настолько, что он почувствовал её тепло.

Марек не отстранился. Не смог. Да и не захотел. Зинаида протянула руку и, едва касаясь, провела пальцами по его плечу, на котором ещё блестели капли воды.

Жест был простым, но в нём не осталось ничего случайного. Марек глубоко вдохнул. Сердце билось слишком быстро.

Он понимал: происходит что-то важное, что-то такое, после чего жизнь уже не останется прежней.

Зинаида чуть наклонилась к нему, и в этот момент расстояние между ними исчезло так, как бывает тогда, когда решение уже принято и остаётся лишь сделать последний шаг. И этот шаг был сделан.

Ещё долгое время мужчины не возвращались с войны. Жёны терпеливо ждали их, воспитывали детей, трудились не покладая рук. Мария была одной из женщин того времени. Многие уставали ждать, находили себе опору, старались забыть прошлое, но она хранила верность своему Васе.

Мария, как и её покойная мать, была необычайно красива. Вернувшиеся с фронта мужчины были готовы на всё, лишь бы заслужить её внимание, но она никого не замечала. Дни напролёт она сидела за швейной машинкой, строчила и строчила, пытаясь заработать хоть какие-нибудь деньги, чтобы прокормить детей.

Помощницы пока не было. Барбара готовилась к поступлению в институт, Томас и Марек учились в реальном училище. Оставалось совсем немного — скоро они начнут зарабатывать, и, глядишь, жить станет полегче. Но пока поддержки ждать было неоткуда.

По совету коменданта Загуляйко Мария попыталась оформить пенсию за мужа. В извещении с фронта было написано, что она имеет на это право, но на деле всё оказалось гораздо сложнее. Начальник собеса, однорукий фронтовик, терпеливо объяснял ей:

— Вы поймите, ваш муж не погиб. Он пропал без вести. Понимаете? Пропал. Как я могу оформить вам пенсию? Я просто не знаю.

— Но тут же чёрным по белому написано, что извещение является основанием для оформления пенсии.

— Да, написано. Но как начислить её за человека, который официально не признан погибшим, никаких инструкций нам не поступало.

— Но ведь можно что-то сделать. У меня четверо детей, самой маленькой ещё и шести нет. На что нам жить? У них авитаминоз, они уже траву начали есть.

— Дорогая, милая, не терзайте мне душу. Если бы я мог, я бы свои деньги вам отдал. Но у меня их нет, а под статью идти я не хочу. Без законного основания, без необходимых документов выплачивать вам пенсию нельзя. Это будет расценено как хищение государственных средств. Всё, что могу вам сказать, — держитесь. Скоро станет полегче.

Мария со слезами выбежала из собеса. Потом ещё долго рыдала в землянке, крепко прижимая Джульетту к груди.

— Ничего, прорвёмся. Всё будет хорошо, — приговаривала она, поглаживая маленькую головку дочери.

Визит Марии в собес стал первым и последним. Она решила ждать возвращения мужа. Чтобы получить пенсию за Васю, нужен был настоящий натиск на сотрудников социального обеспечения, нужны были веские аргументы, которых у неё, как выяснилось после разговора с начальником, не было. Но главное — для этого нужно было самой поверить, что муж погиб.

Мария не могла этого сделать. Она твёрдо знала: он жив.

Клава, секретарша и по совместительству уже законная жена коменданта, майора Загудляйко, через общую знакомую, которая тоже была клиенткой Марии, передала, что их финский домик готов и на днях майор лично занесёт ордер и ключи.

Добрая весть на время заглушила постоянно присутствовавшее чувство голода. Начались приготовления к переезду. Вещей было немного, поэтому управились быстро. Джульетта бегала по двору, то и дело останавливалась у открытой двери землянки и всякий раз весело кричала:

— Мама, я здесь!

Она не замечала нищеты, голода и невзгод, которые душили взрослых. Она была ребёнком и потому была счастлива.

Оставалась стирка. Мария решила, что в новый дом нужно внести только чистые, выстиранные вещи.

Утром дети ушли на учёбу. Перед выходом Марек с Томасом наносили воды из колонки. Вода была ледяной, поэтому они решили сделать это пораньше: к полудню, под ещё греющим осенним солнцем, она немного прогреется, и маме будет не так холодно стирать.

С утра Мария решила закончить кое-что из шитья, поэтому стирку отложила на потом и села за швейную машинку.

Джульетта уже успела набегаться и, устав, вскарабкалась на свободную табуретку. Опершись локтями на стол, она зачарованно наблюдала за быстро прыгающей швейной иглой.

Старший лейтенант Завьялов как раз в тот день был свободен от службы. Конец августа уже возвещал о приближении осени, а осень была для Завьялова самым любимым временем года. Леса золотились. Тёплый ветер играл разноцветными листьями, кружил их, теребил до тех пор, пока они не отрывались от ветвей и вместе с тонкими черешками, похожими на мышьи хвостики, медленно не опускались на землю.

Их сухой шелест неизменно настраивал Завьялова на лирический лад. В отличие от большинства мужчин, прилив нежности к женщинам он испытывал именно осенью, а не весной.

Он уже давно решил для себя, что выпить с утра пару рюмок водки в одиночку — вовсе не порок. Опрокинув их и закулив папиросу из помятой пачки «Казбека», он твёрдо решил навестить Марию.

Ему было приятно просто наблюдать за ней: как она двигается, как поправляет волосы, выбившиеся из-под косынки. О физической близости с ней он, как и в первые дни знакомства, не думал. Душевная близость — вот что волновало его в тот момент.

«Это и есть лирический настрой», — подумал он.

Стройный, высокий старший лейтенант, в начищенных до блеска сапогах, с расправленной под португеей гимнастёркой, на которой красовался ряд орденских планок, был неотразим.

Окончательно убедившись в этом, он вышел из дома, вдохнул аромат сорванной с клумбы розы, которую выращивали пионеры, и лёгкой походкой направился к Марии.

Завьялов не мог знать, что в этот же день, немного позже, Марию решит навестить и майор Загуляйко. Для неё у него был приготовлен подарок — ордер и ключи от нового дома, и вручить их он решил лично.

Сообщив Клаве о своём намерении, Загуляйко бархоткой протёр и без того блестящие сапоги, поправил звезду Героя на расправленной под португеей гимнастёрке, усмехнулся, похлопал ладонью по кобуре, подмигнул восторженной Клаве и вышел из комендатуры.

Глава 11. Двое молодцов

Завьялов вышел из дома раньше, и путь к Марии у него был заметно короче. Молодой герой войны, красавец — глаз не отвести, — но почему-то постоянной женщины у него не было. Не хотели женщины строить с ним отношения всерьёз. Чем дольше они оставались рядом, тем отчётливее росло в них тревожное ощущение: с ним что-то не так. Что именно — никто не мог объяснить. Проще было уйти.

Обычно до этого доходило быстро — два-три дня, не больше. Где проходит эта невидимая граница, определял сам Завьялов. И когда отношения заходили в тупик, он словно отступал внутрь себя, обрывал всё — резко, без объяснений.

Странности в его поведении замечали главным образом женщины. С ними он расслаблялся, терял внутреннюю выправку, и тогда наружу прорывались истерики, видения, короткие запои. С мужчинами же держался сухо, по-военному, общался мало — в основном по службе. Поэтому они ничего не замечали.

Сам Завьялов был человеком самокритичным. Причину своих «заскоков» он знал — и держал её под семью замками. Он говорил себе: всему виной контузия. Но сам понимал — это лишь повод. Не причина.

Настоящую причину он прятал ещё глубже.

Ему не хотелось вспоминать, при каких обстоятельствах он её получил. Потому что с тех пор его не покидало ощущение, будто он живёт чужую жизнь. И живёт в неоплатном долгу.

Снаряд накрыл их сорокопятку неожиданно.

В расчёте тогда были он — молодой командир — и ещё двое: наводчик и заряжающий, который одновременно исполнял обязанности подносчика. Сам подносчик к тому времени уже погиб.

Всё было просто: Завьялов командовал, солдаты стреляли.

Огонь противника был прямым и предсказуемым. Оборону держали стойко.

Рядовой Сивин и сержант Бойко считались опытными бойцами. Они давно привыкли к опасности, смирились с ней и почти перестали её замечать.

Сивин, девятнадцатилетний студент исторического факультета, ушёл на фронт добровольцем. Он каким-то образом сумел уговорить военкома закрыть глаза на очки с толстыми, почти как у бинокля, линзами и отправить его именно в артиллерию. В полку над ним поначалу добродушно посмеивались:

— С такими биноклями не промахнёшься.

Сивин не обижался и смеялся вместе со всеми. К шуткам над своей близорукостью он давно привык и, вероятно, даже был рад тому, что очки, едва не закрывшие ему дорогу на фронт, теперь стали всего лишь поводом для солдатского юмора.

В том бою Сивин был заряжающим. Он вытянул из ящика тяжёлый осколочный снаряд и уже собирался подать его, когда краем глаза заметил вспышку справа. Почти одновременно прогремел танковый выстрел.

Всё произошло за какие-то доли секунды. Сивин даже не успел толком понять, откуда появился танк. Разведка докладывала, что всё чисто, никаких сюрпризов не ожидалось. Огонь ждали прямой, с переднего края, но только не окружения и не такого стремительного удара с фланга.

Следующая мысль оказалась гораздо яснее: снаряд к чёрту — командир открыт.

Сивин бросил его, прыгнул к Завьялову, сбил командира с ног и накрыл собой. Дальше Завьялов помнил только оглушительный взрыв, землю, ударившую в лицо, звон в ушах и тяжесть чужого тела, придавившего его сверху.

Сивин погиб. Погиб и Бойко. А их командир остался жив, и именно этого Завьялов почему-то не мог себе простить. Разумом он понимал, что не заставлял девятнадцатилетнего мальчишку закрывать его собой, что в бою никто не успевает рассуждать о справедливости и выбирать, кому жить, а кому умирать. Но это понимание ничего не меняло. После того боя его

начали преследовать видения, особенно по ночам, когда вокруг становилось тихо и уже нечем было отвлечь себя от собственных мыслей.

Завьялов сделался нервным, легко выходил из себя, терял самообладание из-за пустяков, а потом долго не мог понять, что именно вызвало очередную вспышку раздражения. И тогда к нему стал приходить Сивин.

Завьялов видел его настолько ясно, что порой сам не понимал, спит он или находится в полном сознании. Сивин появлялся возле койки таким, каким остался в его памяти: молодой, худой, в своих нелепых очках с толстыми линзами. Он ничего не говорил, только стоял и смотрел на своего бывшего командира.

— Сивин... уходи... Или скажи, зачем пришёл... — шептал Завьялов в темноте.

Но тот продолжал молчать. Его долгий, тяжёлый взгляд заставлял Завьялова холодеть изнутри, а потом видение так же неожиданно исчезало, как и появлялось. Только сон после этого уже не возвращался. До самого утра Завьялов ворочался на койке, обливаясь холодным потом, а утром вставал, умывался, приводил себя в порядок и снова становился тем старшим лейтенантом, которого привыкли видеть окружающие.

На вопросы врачей он отвечал спокойно и уверенно:

— Никаких видений не наблюдаю. Чувствую себя нормально. Считаю себя годным к дальнейшей службе в Советской армии.

Доктора смотрели на него с уважением. Перед ними сидел бодрый, подтянутый старший лейтенант, красавец с открытым лицом, производивший впечатление почти образцового офицера и гордости армии. Попробуй такого комиссовать.

— Как такого комиссовать? — переговаривались врачи.

И всякий раз решение выносилось практически единогласно:

— Годен к строевой. Иди служи. Только смотри — по уставу.

— Есть по уставу! — отвечал Завьялов и, едва оказавшись за дверью врачебного кабинета, облегчённо выдыхал.

.

Мария закончила с шитьём, собрала грязное бельё — штаны, рубашки — и принялась за стирку. Выйдя во двор, она налила в большой таз воды, уже успевшей нагреться под солнцем. Ей было приятно, что мальчишки заботятся о ней. Всё это было взаимно: она тоже заботилась о них и любила их больше всего на свете.

Одно только не давало ей покоя: как может человек исчезнуть бесследно? Она не могла поверить, что её Вася не вернётся. Такого просто не могло быть.

Джульетта весело носилась неподалёку, подбирала с земли прошлогодние жёлуди и, смеясь сама себе, бросала их куда-то вдаль.

Завьялов приближался к землянке, где, как ему казалось, его ждала Мария. Вот и знакомая крыша, поросшая мхом и едва возвышавшаяся над землёй. Но самой Марии в землянке не оказалось — она стирала во дворе, для удобства высоко подвернув юбку. Завьялов впервые увидел её обнажённые бёдра, и у него перехватило дыхание. На какое-то мгновение ему даже показалось, будто он ощущает её запах.

Мария стояла к нему спиной. Плеск воды заглушал шаги, поэтому Завьялов смог подойти совсем близко, оставшись незамеченным. Когда между ними оставалось всего несколько шагов, он словно перестал владеть собой. Рука сама потянулась вперёд, и он схватил Марию за бедро.

От неожиданности она выронила и бельё, и таз. Вода с шумом выплеснулась на землю. Мария резко обернулась. Завьялов на мгновение растерялся, затем нелепо улыбнулся и вдруг схватил её за грудь. Она с силой отбросила его руку и быстро огляделась, надеясь, что Джульетта сейчас в землянке, после чего бросилась к двери, стремясь как можно скорее укрыться от обезумевшего офицера.

Завьялов пошёл следом. Дверь можно было захлопнуть и запереть изнутри, но он успел вставить сапог в проём и не дал ей закрыться. К счастью, Джульетта действительно оказалась внутри. Мария схватила дочь за руку, крепко прижала к себе и, понимая, что долго сопротивляться не сможет, забилась вместе с ней в угол.

Джульетта, на удивление, оставалась спокойной. Вероятно, ей казалось, что мама и этот знакомый дядя просто играют. Она уже видела его раньше — он приносил сахар, разговаривал с мамой и поэтому не казался ей чужим или опасным.

Завьялов медленно приближался.

— Ну чего ты дёргаешься... — тихо, почти ласково, заговорщицким тоном произнёс он, протягивая к Марии руки. — Это же для здоровья... Не любишь меня — ну и не надо... Мы просто поиграем...

Кроме Марии, он уже ничего не видел. Она вырывалась, дёргалась, вся покрылась испариной, и её сопротивление лишь сильнее распаляло его. Завьялов вырвал у неё Джульетту и небрежно отбросил девочку на нижние нары, затем навалился на Марию всем телом и одним рывком разорвал на ней блузку.

Мария поняла, что положение становится безвыходным. На ремне Завьялова зловеще поблёскивала чёрным гляncем кобура пистолета, и одно её присутствие лишало надежды на то, что она сможет просто вытолкнуть его за дверь. Мария взревела — глухо, страшно, как медведица, защищающая своих медвежат:

— Уходи! Уходи!

Джульетта, забившись в угол нар, тоже закричала, подражая матери тем же отчаянным голосом:

— Уходи! Уходи!

Завьялов с отстранённым, почти пустым взглядом расстегнул кобуру и достал свой табельный ТТ. Он действительно хотел лишь припугнуть Марию — заставить её перестать кричать, успокоиться и сделать так, чтобы всё, как ему представлялось в его воспалённом сознании, произошло «по любви». Ведь он по-прежнему считал себя нормальным человеком. Просто Мария почему-то не хотела его понимать.

А Мария уже знала, чем иногда заканчиваются встречи с «нормальными людьми». В её жизни такой человек уже был — тот самый, который убил её первого мужа. От нахлынувшего воспоминания у неё потемнело в глазах. Она перестала ясно видеть происходящее, но одно поняла совершенно отчётливо: сейчас может случиться самое страшное. Мария прижала к себе Джульетту и приготовилась защищаться до конца.

И именно в этот момент в землянку вошёл майор Загуляйко.

Он не остановился, не стал задавать вопросов — лишь скользнул взглядом по происходящему. Этого оказалось достаточно. Опыт разведчика сделал своё дело: всё стало ясно в одно мгновение.

Он едва заметно сдвинул кобуру вперёд, а руки спокойно опустил в карманы широких галифе.

Со стороны — ничего особенного.

Но это была привычная маскировка истинных намерений.

Свой «ТТ» он носил в левом кармане, а кобуру с муляжом пистолета — справа, для отвода глаз. Никто не знал, что он левша. И сейчас его палец уже лежал на спусковом крючке. Оружие, скрытое в кармане, было направлено прямо на Завьялова.

Карамболь был прост: кобура справа, а пуля приходит слева.

Предугадать такое было почти невозможно.

Завьялов всё ещё что-то говорил — уже заносчиво, уже нагло, предлагая «пустить Марию по кругу»: мол, всем хватит...

Он не договорил.

Выстрел прозвучал коротко и глухо.

Пуля, выпущенная от бедра сквозь новенькие галифе, вошла прямо в высокий лоб старшего лейтенанта.

Завьялов замер. Глаза его широко раскрылись и словно остекленели; в них застыл немой вопрос, на который он уже не успевал получить ответа. Ещё мгновение он оставался на ногах, будто тело не сразу поняло, что произошло, а затем тяжело рухнул на пол.

Под низким бревенчатым потолком повисла тишина. Мария, прижимая к себе Джульетту, не двигалась. Загуляйко тоже некоторое время стоял на месте, всё ещё держа пистолет перед собой и не сводя глаз с Завьялова. Потом медленно подошёл, наклонился и привычным, почти профессиональным движением проверил пульс.

Готов.

Майор выпрямился, посмотрел на лежавшего перед ним товарища, затем снова присел и осторожно провёл ладонью по его лицу, закрывая оставшиеся открытыми глаза. В этом движении уже не было ни злости, ни того напряжения, с которым он несколько секунд назад нажимал на спусковой крючок. Осталась только усталость и, наверное, сожаление о том, что всё закончилось именно так.

— Вот дурак... доигрался, — тихо проговорил Загуляйко. — И врачи тоже... поиграли в добродетелей. Ведь каждый знал — псих. Комиссовать надо было. А они жалели... Хотя на гражданке ему, может, ещё хуже было бы...

Он говорил негромко, скорее самому себе, чем присутствующим. Получилась короткая, неровная, но по-своему искренняя прощальная речь над телом товарища, фронтовика, которого не убила война, но всё-таки догнала уже после своего окончания.

Время было тяжёлое. Люди возвращались с фронта совсем не такими, какими когда-то уходили туда. Кто-то быстро привыкал к мирной жизни, заводил семью, работал, смеялся и постепенно учился жить заново, а кто-то продолжал воевать внутри себя ещё долгие годы. Война ломала людей незаметно, оставляя после себя раны, которых не было видно под гимнастёркой. Она обесценивала многое, а прежде всего — человеческую жизнь. За несколько военных лет люди слишком привыкли видеть смерть рядом, чтобы после Победы сразу научиться снова относиться к жизни как к чему-то бесценному.

Завьялов вернулся с войны живым, но какая-то его часть, вероятно, так и осталась там — возле разбитого орудия, рядом с погибшими Сивиным и Бойко. И теперь война, давно закончившаяся для остальных, наконец закончилась и для него.

Второй раз в жизни Мария испытала настоящий страх. Даже когда немцы бомбили, было не так страшно — там всё было понятно: враги, чужие, звери. А здесь — свои, родные люди. И снова труп.

Война покалечила всех.

— Ты это... главное не дрейфь... и не смотри на него... — негромко сказал Загуляйко, уже взяв себя в руки. — Давай шинелькой его прикроем... и на двор вынесем. Ну давай, очнись ты, не стой... давай шинельку.

Джульетта молча смотрела на мать.

Майор перевёл взгляд на девочку и сразу сменил тон — заговорил мягче, почти по-отечески:

— Не бойся, девочка... дядя просто лёг поспать... притомился. Сейчас мы его с мамой на воздух вынесем, а то душно у вас тут... Ну давай, Мария, подсоби.

Вдвоём они вытащили тело старшего лейтенанта на крыльцо, а затем, тяжело, волоком, дотащили до туалета.

Загуляйко остановился и повернулся к Марии.

— Значит так. Он хотел тебя изнасиловать. Махал оружием, угрожал расправой. Я вошёл — он навёл пистолет на меня. Я выстрелил первым. Так ведь?

Он внимательно посмотрел ей в глаза.

— Ну вот. Так и будешь говорить следователю. А он... — майор кивнул в сторону тела, — пускай пока здесь полежит. Я за транспортом. Одна нога здесь, другая там.

Он уже было развернулся, но вдруг вспомнил:

— Да, вот ещё... Зачем пришёл-то. Ключи тебе от нового дома... и ордер принёс. Так что сегодня и переедете.

Загуляйко оставил её одну с телом и, хромая, подпрыгивая на здоровой ноге, быстро направился к комендатуре.

Мария долго сидела рядом с телом, боясь даже пошевелиться. Тишина давила.

Присутствие Джульетты словно постепенно выводило её из оцепенения. Мария понемногу приходила в себя и, всё ещё рассеянная, начала собирать вещи.

Стирка отменялась.

Мокрое бельё она сложила в одну кучу, чтобы потом сразу закинуть в кузов. Большинство узлов уже были завязаны. Она выволокла их на улицу. Оставались кухонная утварь, немного продуктов, швейная машина, шинели — без них никак.

Иногда она невольно смотрела туда, где возле туалета лежал Завьялов. И вдруг ей стало его жалко. Как-то неожиданно. Тихо. Она подумала: это всё война... Он не виноват... Не мог он быть таким...

Всё произошло, как в театральной пьесе: на сцене появилось оружие — и, по законам жанра, оно выстрелило.

— Что же это за времена такие... — почти шёпотом сказала она самой себе. — Чего же ему в жизни не хватало?..

Она не углублялась в рассуждения, не искала объяснений. Да и не знала она его по-настоящему. И не понимала, что жалеть его не стоит. Что он просто заплатил по своим долгам.

Вскоре приехал грузовик. Водитель — седой старшина — до прихода детей помог погрузить вещи. Когда дошло до тела, решили грузить его вдвоём.

И тут начались трудности. Мария никак не могла приподнять ноги Завьялова до уровня кузова. Она напрягалась, кряхтела, изо всех сил старалась удержать их у борта. Оставалось совсем немного подтолкнуть. Но каждый раз то одна нога, то другая выскальзывала из рук, и всё приходилось начинать сначала.

С другой стороны старшина возился с телом: сопел, тужился, заваливал голову в кузов, придерживал её рукой, грудью и подбородком прижимал плечи покойника и, помогая себе коленом, пытался приподнять таз. Казалось, ещё немного — и получится. Но в этот момент у Марии снова выскальзывала нога. И мёртвый Завьялов опять оказывался на земле.

Старшина раздражённо выдохнул, едва сдерживаясь:

— Ну что ж ты... ёпть... каши мало поела, что ли?.. Силёнок-то никаких...

И снова взялся за дело.

Дорога к земляному посёлку тянулась через весь город. На одном из перекрёстков, как обычно после занятий, встречались Барбара, Томас и Марек и вместе шли домой.

Говорили немного — в основном об учёбе. Хотя у каждого уже была своя, личная жизнь, о ней не произносилось ни слова.

Каждый нёс своё в себе.

Томас думал о Наташе. Он представлял, как вечером они снова уйдут в лес, заберутся в самую чащу, упадут в высокую траву на своей привычной поляне, укрытой от посторонних глаз, и до глубокой ночи, освещённые полной луной, будут предаваться взаимным ласкам.

Он был влюблён.

И с нетерпением ждал вечера, чтобы вдохнуть её запах, почувствовать её рядом.

Наташа была похожа на свою мать буквально во всём. Молодая красавица, живая копия Зинаиды. Спокойная, выдержанная, умная и при этом хитрая. Но хитрость её никогда не вредила тому, кого она любила. Напротив, для такого человека она становилась настоящей палочкой-выручалочкой.

Она думала за двоих. И заботилась — тоже за двоих. Томасу повезло. И он, будучи человеком неглупым, прекрасно это понимал.

Всё началось с сухарей, а теперь в ремесленном училище парторг с комсоргом буквально за уши тащили его в комсомол.

Характер у Томаса оказался ровным, спокойным, покладистым.

Свою роль, конечно, сыграли и гены. О настоящем отце — польском дворянине — он никому не рассказывал. Да и воспоминания о нём были уже такими далёкими, что почти стёрлись.

Воспитанием Томаса, по сути, никто не занимался. Родной отец погиб, отчим был постоянно занят, и, как нередко бывает с самородками, он воспитал себя сам — наблюдая, впитывая, учась у всего, что его окружало.

Материала для этого было предостаточно.

Ему везло на людей. Чаще всего рядом оказывались добрые, честные, отзывчивые. Именно у них он научился самому главному — уважать человека и видеть в нём хорошее.

Такого парня не могли не заметить.

Партийные и комсомольские руководители присматривались к нему, разговаривали, проверяли.

Какую роль в этом интересе сыграла Наташа — сказать было трудно. Возможно, сама того не осознавая, она стала для Томаса чем-то вроде талисмана-хранителя.

Мареку и вовсе нечего было рассказывать.

Он встречался с Зинаидой — матерью Наташи. И это была его тайна.

Эти встречи изменили его. Он успокоился, ушли юношеские метания, мысли стали яснее, движения — увереннее. Он перестал жадно пожирать глазами сверстниц.

Зинаида умела снять внутреннее напряжение. После встреч с ней он смотрел на девушек спокойно, по-товарищески, без прежнего вождения.

А они, наоборот, чувствовали в нём зрелого мужчину, скрытого в таком молодом облике, и теряли голову. Многие добивались его внимания.

Он не был холоден. Реагировал с интересом, общался, слегка флиртовал. Порой даже забывал, что у него есть страстная любовница.

Считать, что Зинаида использует его, было бы неверно. Их отношения были взаимовыгодными, но оба понимали: это не навсегда и когда-нибудь им придётся расстаться.

Барбара была совсем другой.

Скромная девушка с прекрасно сложенной фигурой и тонкими, выразительными чертами лица. И при этом — прилежная ученица.

Учёба давалась ей легко. Память была цепкой: всё, что говорили учителя или читалось в учебниках, она запоминала быстро и надолго.

Способность логически мыслить проявилась ещё в младших классах. А в старших, с полного одобрения учителя математики Петра Евграфовича, она решала задачи университетского уровня, словно щёлкала орехи.

Не уступала она и в литературе. Разбирая романы, повести и эссе, поражала учительницу русского языка и литературы Василису Кондратьевну глубиной понимания авторского замысла.

В общественной жизни школы Барбара участвовала охотно, с увлечением. Всё — жизнь класса, школы, комсомольской организации — давало ей силы, укрепляло её желание стать педагогом.

Ей было семнадцать, когда комсорг школы Коля поручил ей простое, на первый взгляд, дело: пригласить любого, первого встречного фронтовика на тематический вечер «Наши герои».

Барбара вместе с подругами отправилась на поиски. Они бродили по Могилёву, по Первомайской улице, среди строек, подъёмных кранов и груд обломков разрушенных зданий.

Фронтовиков встречалось много, но на приглашение все вежливо отказывались, ссылаясь на занятость. Согласился только один — высокий, широкоплечий молодой капитан по имени Иван. Он сказал, что придёт. Обязательно. Но только если Барбара пригласит его лично.

Он сразу отметил про себя: голубоглазая брюнетка с мягкими, чувственными губами — точь-в-точь как девчонки с Дона, из его родной станицы.

Барбара сначала смутилась. Она поняла, что это уже не просто формальность. Но, взглянув на его открытое, красивое лицо, на курчавый чуб, выбивающийся из-под лихо сдвинутой набекрень фуражки, успокоилась и пригласила его. От себя.

С тех пор прошло три месяца. Их тянуло друг к другу — тихо, ровно, без спешки. Иван пообещал не трогать её, ничего не требовать — до её совершеннолетия, до окончания института, до свадьбы. И своё слово сдержал.

Их отношения оставались платоническими: прогулки под луной, тихие разговоры, нежные слова, долгие взгляды. О нём не знал никто — ни мать, ни братья, ни Джульетта. Это было её — личное и очень важное.

Дети Марии шли по дороге, каждый погружённый в свои мысли, лениво пиная носками ботинок старые жёлуди. Им было хорошо вместе — даже в молчании.

По обе стороны дороги тянулись дырявые изгороди убогих жилищ. Вдоль них паслись рогатые козы: то дёргали головами, позванивая колокольчиками и отгоняя назойливых мух, то с любопытством поглядывали на прохожих, будто пытались понять, кто они такие.

Впереди показалась крыша родной землянки и стоявшая возле неё грузовая машина. Радость вспыхнула сразу у всех: стало ясно — переезд.

Шаг тут же сбился. Терпения идти обычным шагом уже не хватало, и ребята сорвались с места, побежали, обгоняя друг друга.

Мария не стала рассказывать им о том, что произошло всего несколько часов назад. Не хотела.

«Хватит с них. Настрадались... с лихвой», — подумала она.

Теперь нужно было другое — помочь погрузить тело военного, лицо которого было накрыто шинелью, и при этом постараться не испачкать вещи кровью. Справились быстро. Мария с Джульеттой сели рядом с водителем, а дети забрались в кузов.

Всю дорогу они не сводили глаз с накрытого шинелью тела. Первая остановка была у комендатуры. Солдаты открыли борт и молча забрали труп. Его как будто и не стало — только смазанные пятна крови остались на дощатом полу кузова.

Немой вопрос — «что это было?» — застыл в глазах Марека, Томаса и Барбары. Он сопровождал их всю дорогу, словно висел в воздухе, и исчез лишь тогда, когда вдаль показались крыши новых домов — одинаковых, как близнецы.

С этого момента начиналась другая жизнь.

Глава 12. Финский домик

Дома были похожи на строительные вагончики, только с острыми крышами. Новое жильё отличалось незатейливой, но добротной конструкцией. Подмости по периметру приподнимали дом над землёй. К входной двери, сделанной из фанеры и войлока, вела дощатая лестница в три ступени. За дверью находился небольшой предбанник, где торчавшие из стены гвозди служили вешалками для верхней одежды.

Дальше располагалась одна большая комната. В углу стояла чугунная печка. Дневной свет проникал внутрь через два больших окна. После маленькой тесной землянки эта комната казалась почти просторным спортзалом.

У Коноваловых сразу появилась мысль разделить её простынями на небольшие отсеки, чтобы у каждого было своё, пусть и условное, пространство. В общем проходе оставалась печка, и зимой тепло от неё должно было равномерно расходиться по всему дому, а мама могла без помех готовить еду.

Семья сразу почувствовала резкую перемену в быту. Все пребывали в лёгкой эйфории: от нового места, от непривычных запахов, от самой мысли, что теперь можно всё обустроить по-своему. В душе у каждого шевельнулась тихая, ещё не оформившаяся надежда.

Этот невзрачный финский домик вдруг показался им рубежом, от которого начинался отсчёт новой жизни.

Теперь у каждого была своя «территория», на которую, как шутили, можно было заходить только с разрешения хозяина.

На самом деле, конечно, ничего особенно не изменилось. Все были рядом — их разделяла лишь простыня. Но ребята понимали: Барбара уже взрослая, и ей необходимо хотя бы какое-то уединение.

Томас с Марекom возвращались домой поздно, обычно за полночь. Они пробирались в свои, как сами их называли, «кельи» тихо, стараясь не шуметь, не грохотать тяжёлыми кирзовыми ботинками. Быстро устраивались, ложились и почти сразу засыпали.

Мария и Барбара, несмотря на видимость глубокого сна, не спали. До глубокой ночи они лежали, вслушиваясь в каждый шорох за окном и тревожно ожидая их возвращения.

Для них не было секретом, что Томас проводит время с Наташей.

А вот то, что Марек увлёкся её матерью, они не могли даже представить.

Да и сам Марек соблюдал в этих встречах строгую конспирацию. Он любил своих родных и понимал: нехорошо заводить связь с матерью девушки собственного брата. В его понимании это было пошло и бросало тень на добрые семейные отношения.

Он придерживался простого правила: там, где живёшь, не пачкают.

Если станет известно, что он любовник Зинаиды, неприятно будет всем. А создавать брату неудобства он не хотел.

Да и сам вдруг почувствовал, что интерес к этой сорокапятилетней женщине уже не тот, что был раньше. Тем более вокруг него всё чаще кружили хороводы ровесниц — молодых, живых, красивых.

Зинаиде интимная связь с мальчишкой порядком надоела. Восторженность уступила место рутине: повторяемость поз, слов, комплиментов утомляла и начинала раздражать. Встречи становились всё реже — всё постепенно сходило на нет.

Всё чаще она ловила себя на мыслях о собственной жизни: острота ощущений притупилась, возраст приближался к пятидесяти, появилась то ли лень, то ли усталость. Её всё сильнее тянуло к мужчинам постарше — в них она искала уют и стабильность, как истерзанный бурей корабль ищет тихую, надёжную гавань.

Она мечтала встретить спокойного, взрослого, состоявшегося мужчину, за которым была бы как за каменной стеной. Ей нужна была опора — крепкое плечо, уверенность в завтрашнем дне, пусть даже самая простая, почти банальная.

Несмотря на то что гипертрофированное, юношеское представление Марека о чести, почерпнутое из прочитанных романов, и расчётливая, выверенная жизненным опытом философия Зинаиды явно противоречили друг другу, разрыв, который, казалось бы, должен был обернуться бурей взаимных упреков и обвинений, произошёл неожиданно легко. Они расстались без истерик, сохранив тёплые, почти дружеские отношения.

Мария, как и прежде, занималась шитьём и домашним хозяйством. Дети помогали, но из-за своей занятости основная нагрузка ложилась на её хрупкие плечи. Она не жаловалась и не причитала, понимая: главное — образование её дочери и сыновей.

Чаще всего она варила похлёбку из люпинов — просто на воде. Но бывали дни получше: мясник в столовой, где работали Наташа с Зинаидой, оставлял для них кости, остававшиеся после разделки туши старого, вероятно, умершего своей смертью быка. Тогда люпины варились уже в наваристом бульоне, и казалось, что из них получится настоящий картофельный суп.

В доме каждый стирал и гладил свои вещи сам. Огромный чёрный утюг разогревали на печке или на костре, разведённом во дворе. На полу расстилали шинель и гладили через марлю — и повседневную одежду, и школьную форму.

Томас с Мареком смачивали штанины мыльной водой и выводили стрелки — такие, что держались долго и не разглаживались. Барбара тщательно выглаживала своё школьное платье и белый фартук, которым особенно гордилась.

Утюг был самой востребованной вещью в доме: Мария часто гладила и готовые изделия, которые шила на заказ.

Могло показаться, что Джульетта растёт сама по себе, словно сорная трава. Но это было далеко не так. От каждого она получала любовь, заботу и внимание.

Барбара, как будущий педагог, старалась проводить с младшей сестрой больше времени, чем остальные. Она готовила Джульетту к школе — уже через год той предстояло пойти в первый класс.

Раскрывая букварь, девочка повторяла за сестрой буквы и уже читала по слогам. Считала до десяти и обратно, складывала и вычитала простые числа: два плюс два, четыре минус три — всегда получалась единица.

Мария была благодарна Барбаре за помощь. Благодаря этому у неё появлялось немного свободного времени. И тогда приходили мысли о Васе.

«Где он?.. Жив ли?..»

От этих мыслей в груди поднималась тяжёлая тоска. Вспоминалась довоенная жизнь. Становилось жалко себя, жалко детей.

Барбара тихо подходила, обнимала мать за плечи, и они вместе плакали — без слов, понимая друг друга.

Потом тоска постепенно отступала. Жизнь шла своим чередом. Время отсчитывало дни и месяцы.

Джульетта подросла и пошла в школу — в первый класс.

Традиционная церемония, посвящённая началу учебного года, проходила первого сентября на школьном стадионе. Родители выстроились большим кругом за спинами детей, придерживая малышей за плечи, чтобы те не разбежались.

Директор школы выступил с приветственной речью.

Затем, по традиции, старшеклассник должен был посадить первоклассницу себе на плечо и пройти с ней внутри круга, пока она звонит в колокольчик.

От группы выпускников отделился высокий, почти двухметровый парень. Он огляделся, выбирая, кого взять.

Все дети были обычными, но одна девочка сразу привлекла его внимание.

Тонкое лицо — почти взрослое. Огромные серые глаза, маленький, чуть вздёрнутый нос, каштановые волосы, аккуратные губы — всё это складывалось в удивительно гармоничный образ, и она сразу выделялась среди остальных.

Парень на секунду задумался.

Потом протянул руку.

Джульетта решительно шагнула вперёд.

И вот она уже сидит у него на широком плече, замирая от высоты, и, звонко потряхивая колокольчиком, проносится по кругу — мимо детей, мимо взрослых.

Будто возвещая всем, что её большая жизнь только начинается.

Глава 13. Барбара

В том же году Барбара поступила на первый курс физико-математического факультета Могилёвского педагогического института. На вступительных экзаменах она набрала высокий проходной балл — сказались самостоятельные занятия и привычка изучать материал далеко за пределами школьной программы. Теперь проблем с пониманием профессорских лекций у неё практически не возникало. Барбара схватывала всё на лету: достаточно было один раз внимательно прослушать лекцию, чтобы материал уложился в голове, занял своё место и больше не требовал многочасового сидения над конспектами, как это случалось со многими другими студентами.

Но если над учебниками по ночам ей сидеть не приходилось, то заснуть всё равно удавалось далеко не всегда. Теперь причиной бессонницы была не учёба. Мысли об Иване не давали покоя.

Барбара была уже взрослой девушкой и прекрасно понимала, что происходит между мужчиной и женщиной, хотя собственного опыта у неё ещё не было. Иван нравился ей своей ласковостью, внимательностью и, что для неё было особенно важно, уважительным отношением. С его стороны не было прямых намёков на близость, он не позволял себе ничего лишнего, не давал воли рукам и вообще держался так, что опасаться его ей даже не приходило в голову.

Но он смотрел. Иногда долго, не отводя глаз, и во взгляде его появлялось что-то чуть хищное, жадное, словно Иван мысленно снимал с неё одежду. И странное дело — Барбаре это нравилось. Она чувствовала его взгляд на себе и, сама того не замечая, начинала ему подыгрывать: чуть иначе садилась, поворачивалась боком, принимала позы, в которых её фигура казалась ещё выразительнее. Никакого страха при этом она не испытывала. Напротив, рядом с Иваном ей было спокойно, а его нескрываемый мужской интерес только сильнее убеждал её в собственной привлекательности.

Она была уверена: Иван умеет держать себя в руках и дальше своих фантазий не зайдёт, хотя где-то в глубине души понимала, что, если бы однажды он всё-таки решился сделать первый шаг, она не была бы столь категорична.

Но Иван, упиваясь собственным благородством и считая свою сдержанность едва ли не главным доказательством серьёзности намерений, не замечал самого простого: Барбара уже давно повзрослела и была готова к серьёзным отношениям. Иногда, наблюдая за тем, как он почти по-мальчишески пытается обуздать свою страсть, она добродушно улыбалась. Слишком уж заметным было несоответствие между его возрастом, жизненным опытом и этой почти юношеской сдержанностью.

Они часто сидели рядом, прижавшись друг к другу, на своей любимой скамейке в Печерском лесопарке, на песчаном берегу Дубровенки — правого притока Днепра. Иван был разговорчив, любил шутить, рассказывал живо, с огоньком, и Барбару это забавляло. Сама она, напротив, предпочитала больше молчать, слушать его и впитывать всё, что он говорил.

Иван часто вспоминал довоенную жизнь, родную станицу, какие-то смешные случаи из детства и молодости, людей, которых давно уже не видел. О войне говорить не любил, словно её и не было вовсе, словно несколько страшных лет можно было просто вычеркнуть из памяти и продолжать жить дальше.

— Зачем ворошить прошлое? — говорил он. — После такого мрака лучше всё забыть и начать жить с чистого листа. И это не я придумал — у нас так принято. И отец мой, и дед, и прадед — все ходили на войну, как на работу. Сколько их было, этих войн, не сосчитать. Если всё в голове держать, да ещё с подробностями, голова должна быть размером с планетарий.

И над тихо текущей речкой снова раздавался лёгкий, звонкий смех Барбары.

Бывали и другие вечера, когда они подолгу молчали. Сидели рядом, вслушиваясь в наступающую ночь, каждый думал о своём, и это молчание несколько их не тяготило. Наоборот, оно было необходимо им обоим, как небольшая передышка. Слишком сильным становился временами внутренний накал, слишком напряжённым было ожидание того, что рано или поздно должно было между ними произойти. Пара часов такой тишины словно позволяла перевести дух перед новой волной чувств.

В такие минуты они действительно напоминали мужа и жену, давно привыкших друг к другу и уже научившихся понимать многое без слов. Барбаре нравилось это ощущение спокойной близости. Иногда ей даже казалось странным, что рядом с Иваном можно просто сидеть и молчать, не испытывая необходимости чем-нибудь заполнить тишину.

И вот однажды Барбару вдруг накрыла волна сильного, непривычного чувства. Такой страсти к мужчине она ещё никогда не испытывала. Иван неожиданно показался ей настолько родным и близким, что сдерживаться дальше не было ни желания, ни сил. Ей захотелось обнять его, прижать к себе, к своей девичьей груди, почувствовать рядом его тепло и наконец поцеловать.

От Ивана пахло табаком и ветром. Барбара ещё несколько мгновений смотрела на него, словно сама удивляясь тому, что собиралась сделать, потом чуть приподнялась и быстро, почти робко, коснулась губами его губ.

Сделав это, она тут же отпрянула, словно испугалась собственной смелости, отбежала в сторону и остановилась. Прижав кулачки к груди, Барбара смотрела на Ивана, вся охваченная смущением и жаром, и теперь ждала только одного — что будет дальше.

Иван несколько секунд оставался на месте. Потом поднялся со скамейки и подошёл к ней.

Обнял — крепко, осторожно, как будто хотел защитить от всего на свете. Она дрожала. Он обвил её руками, словно плющом, и начал целовать — шею, тонкую, гибкую, маленькие уши с серёжками, щёки... и, наконец, прижался к её приоткрытым губам.

Она не умела целоваться. Он тоже не был мастером. Но этого было достаточно. Он учил её — просто, как умел. Ноги у неё подкосились. Она не удержалась. Иван понял.

Не спрашивая, не сомневаясь, он опустился вместе с ней в густую, мягкую траву.

И мир вокруг словно на мгновение перестал существовать.

Лёжа на кровати в своей «келье», Барбара пыталась упорядочить хаотично разбросанные мысли и понять, что же с ней произошло, что её ждёт впереди и какой окажется её жизнь.

Она ни о чём не жалела.

«Я сама этого захотела... и отвечать буду сама. И если родится ребёнок... а Иван меня бросит — воспитаю его одна. Мне не нужна помощь. Ни от кого».

Мысли, одна страшнее другой, сами лезли в голову. Ей рисовались картины, где Иван её оставляет, а она — одинокая мать — растит его ребёнка. И вот мальчик вырастает, становится взрослым, и она рассказывает ему, что его отец был лётчиком и погиб смертью храбрых.

Она, почти по-детски, щекотала себе нервы этими нелепыми, выдуманными ситуациями.

И в то же время прекрасно понимала: Иван любит её. По-настоящему. И никогда не бросит. Тем более с ребёнком.

«Боже, как стыдно... я усомнилась в нём... пусть даже понарошку... всё равно... это плохо... ничего не скажу ему... ничего...»

Эта мысль ещё звучала в голове, когда она уже проваливалась в сон.

Иван не любил нарушать данное слово. И в этот раз он держался, как мог. Но вчера всё произошло слишком неожиданно.

«Наверное, так и должно было быть... к лучшему», — пытался он убедить себя.

Глава 14. Иван

В строевом отделе районного военкомата, где служил Иван, густой папиросный дым давно стал частью интерьера. Мухи, привыкшие к человеческому равнодушию, спокойно ползали по оконному стеклу, жужжали без остановки, будто им принадлежало всё это пространство.

Капитан Иван Шинкарёв закурил очередную папиросу. Кашель не отпускал. Кончик языка пощипывало. Во рту ощущался странный привкус — крови и трофейных галет.

Из приёмной, через открытую дверь, донёсся голос секретарши Фани — единственной на весь отдел:

— Шинкарёв, может, отгул возьмёшь? Лица на тебе нет.

Он промолчал.

Фаня не унималась:

— С невестой бы прогулялся... а то засел как пень. Смотри, какая погода — благодать. Меня бы кто выгулял... а, Шинкарёв? Не хочешь на мне потренироваться?

— Фаня, оставь свои шуточки... прошу тебя. Мне сейчас не до них.

— Ну хорошо... как скажешь.

Повисла короткая пауза.

— Как там военком, уже на месте?

— Думаю, да. А что?

— Да так... дело у меня к нему.

— Что за дело?

— Вот всё тебе нужно знать... Моё личное дело. Ясно?

Фаня фыркнула.

— Ясно... не кипятись, а то лопнешь. Иди лучше сейчас, а то уйдёт — потом не поймешь.

Шинкарёв поднялся из-за стола, вышел в приёмную и посмотрел на себя в зеркало, висевшее на стене. С лицом всё было в порядке.

Он поправил гимнастёрку под ремнём, провёл ладонью по ткани, разглаживая складки, затем по привычке потёр носки сапог о голенища. И уже выходя, почти незаметно, чтобы Фаня не увидела, быстро, едва уловимым движением перекрестился.

Пол коридора был настелен досками — в отличие от остальных помещений, где лежал паркет. Доски были выкрашены в тёмно-коричневый, почти чёрный цвет. Одни, прогибаясь, пружинили, словно батут, другие, наоборот, выгибались и топорщились, будто подвесные мостики. Это доставляло посетителям немало неудобств: они то и дело спотыкались, громко чертыхались и рисковали подвернуть ногу.

Стены коридора, выкрашенные масляной краской в жутковатый зелёный цвет, были увешаны прибитыми гвоздями портретами вождей. Перед самым выходом, над дверью, висел краснокумачёвый плакат с призывом к новобранцам защищать Родину.

Под потолком болталась голая лампочка. Её колючий, резкий свет, рождавшийся в раскалённой вольфрамовой нити, создавал в помещении тяжёлую, гнетущую атмосферу казённости и строгости, особенно действовавшую на призывников.

Табличка с надписью «Военком» двумя шурупами была прикручена к двухстворчатой, обитой коричневым дерматином, двери кабинета военного комиссара, подполковника Зубарева.

Сам Зубарев среди подчинённых слыл человеком демократичным и даже, в каком-то смысле, либеральным. Его секретарша Фаня была закреплена за строевым отделом, поэтому бывшая приёмная превратилась в обычный предбанник: на полу стояли коробки с бумагами, лежали папки с нормативными актами, вёдра с краской, а в углу сиротливо притулилась вешалка.

Обычно посетители долго ждали в коридоре, потом теряли терпение, приоткрывали дверь кабинета и заискивающе просили принять их, чтобы лично обсудить с военкомом место службы своего отпрыска. Но подполковник Зубарев был не так прост, как казался. Громовым голосом он сообщал, что занят, требовал закрыть дверь, а спустя некоторое время сам вызывал людей и громко зачитывал фамилии по списку.

Сегодня в коридоре было пусто. Дверь кабинета стояла приоткрытой. Сквозь узкую щель, в лучах дневного света, плотной стеной валил папиросный дым.

Зубарев любил курить. И в военкомате курили все. Он даже поощрял это, считая, что табачный дым объединяет людей.

Шинкарёв, затушив папиросу о подошву сапога, подошёл к двери. Хотя она уже была приоткрыта, он всё равно постучал — как полагалось.

— Входите! — зычно донеслось изнутри.

— Капитан Шинкарёв! — отчеканил он, входя.

— Я и сам вижу, — буркнул Зубарев, закуривая новую папиросу. — Что у тебя?

Шинкарёв на секунду замялся.

— Не знаю, как сказать...

Он тоже закурил — привычным движением достал «Беломор».

Зубарев прищурился.

— Ты лучше скажи, как у тебя дела с твоей барышней. Встречаешься?

— Всё хорошо, спасибо... Встречаюсь. И... я тут подумал... В общем, дело у меня к вам.

— Ну давай, выкладывай. Только по существу.

— Понимаете... время пришло нам пожениться.

Зубарев даже оживился.

— Ух ты! Молодец, значит, решился. Ну что ж, поздравляю. Свадьбу сыграем по первому разряду. Организацией я займусь лично.

— Спасибо, товарищ подполковник... Но у меня есть одна нерешённая проблема.

— Какая ещё проблема?

— Жить нам негде.

— Это как — негде? — Зубарев фыркнул. — Выделим комнату в общежитии. Тоже мне проблема.

Шинкарёв покачал головой.

— Это понятно... Но я хочу построить свой дом. Вот и пришёл посоветоваться.

— Новый дом? — переспросил Зубарев, прищурившись.

— Нет, не новый. Недалеко отсюда стоят руины. Я справки навёл — хозяев нет. Вот и подумал: фундамент есть, а сверху я сам... из подручных материалов... надстройку прилажу.

Зубарев усмехнулся.

— Приладит он... А чем тебе общежитие не подходит?

— Да не в этом дело... — спокойно ответил Шинкарёв. — У нас в станице так заведено: жених строит дом для будущей семьи и приводит туда жену.

Зубарев помолчал, затягиваясь.

— Ну, традиции надо уважать... — наконец сказал он. — Понял тебя. Тут разрешение от горсовета нужно.

— Вот именно, — кивнул Шинкарёв. — Подсобите, товарищ подполковник. Я в долгу не останусь.

Зубарев внимательно посмотрел на него, потом чуть кивнул.

— Ладно, Ваня. Ловлю на слове. Подсоблю. Сегодня же поговорю с председателем.

Он стряхнул пепел и уже спокойнее добавил:

— Сделаем тебе дом. Раз решил — надо строить.

Узкая тропинка, усыпанная щебёнкой и ведущая к берегу тихой речки, заросла высоким пыреем. Его плоские колоски на длинных стеблях нависали над дорогой, словно готовые стряхнуть на всякого, кто осмелится пройти мимо, мелких чёрных клещей.

Ивану они были не страшны. Высокие форменные сапоги надёжно защищали ноги. Он шёл уверенно, нарочно сбивая траву резкими ударами голенищ.

Парковая чаща стояла плотной стеной. Берёзы и клёны росли так густо, что почти касались друг друга кронами. Сквозь листву пробивался лунный свет. Он ложился на землю белыми пятнами и серебрил тёмный ковёр мха. Воздух был прозрачным, сырым от реки и пах тиной.

Иван вышел на поляну.

Она находилась на небольшом возвышении, откуда открывался вид на реку. Извилистая лента воды уходила вдаль до самого поворота и исчезала за чёрной стеной леса. Поверхность реки мерцала под лёгкой рябью.

Еловая скамейка стояла на своём месте. Когда-то её пропитали канифолью, и с тех пор древесина заметно потемнела. Это место знали все влюблённые. Сегодня скамейка была свободна, и Иван облегчённо вздохнул.

Часы показывали половину двенадцатого. Он достал папиросу и закурил.

Из орешника вышла Барбара.

Заметив Ивана, она подняла руку и помахала. Потом осторожно направилась к нему, внимательно смотря под ноги. Иван не отрывал от неё взгляда. Сегодня она казалась ему особенно красивой.

Косынка в её руках едва заметно колыхалась при каждом шаге. Тёмные волосы густыми прядями спадали на плечи, ровная чёлка почти касалась бровей. Ситцевое платье бежевого цвета с воротником-стойкой мягко облегло фигуру, оставляя плечи открытыми. Чёрный пояс подчёркивал узкую талию и линию бёдер, а ниже ткань расходилась мягким воланом и при-

крывала колени. Открытые загорелые икры завершались белыми носочками и чёрными лакированными туфлями.

— Давно ждёшь? — спросила она, подходя ближе.

— Только пришёл, — ответил Иван.

Они сели рядом.

Барбара смотрела вдаль и молчала. В её лице было удивительное спокойствие. Она без остатка доверяла человеку, сидевшему рядом.

Ей вдруг показалось, будто внутри кто-то шевельнулся. Словно ребёнок уже давал о себе знать. Мысль была странной — для этого ещё слишком рано. И всё же ощущение казалось настоящим.

Иван заметил её задумчивость. Он тоже посмотрел вдаль и нарочно сделал такое же серьёзное лицо.

Несколько секунд они молчали. Потом не выдержали и рассмеялись.

Иван обнял её за плечи и притянул к себе. Осторожно поцеловал в губы, затем увереннее. Поцелуй становился всё глубже и теплее.

Барбара мягко отстранилась.

— Не сейчас, — тихо сказала она.

— Почему?

Она положила ладонь на живот.

— Он проснётся.

— Но ведь ещё рано говорить о нём так.

— Нет, Ванечка. Ты не понимаешь. Он уже есть. Просто пока спит. Давай не сейчас.

Иван посмотрел на неё и кивнул.

— Хорошо.

Он немного отодвинулся.

— Я говорил с начальником. О нашей женитьбе.

Барбара повернула к нему голову.

— Он знает о нас?

— Да. И сказал, что тянуть не стоит.

— Значит, мы поженимся?

— Поженимся. И как можно скорее.

Барбара обняла его за шею.

— Ванечка... Я тебя так люблю...

Иван прижал её к себе. Некоторое время они молчали, и каждому казалось, что теперь всё обязательно будет хорошо.

Глава 15. Знакомство

На следующий день Барбара решила познакомить Ивана со своими близкими и пригласила его к себе домой.

В день знакомства Иван тайком сорвал на клумбе цветы и собрал большой букет. В нём были розы, пионы, ромашки, васильки и маки — пёстрый, по-праздничному нарядный.

Он встал перед зеркалом с букетом в руках. Повернулся вправо, потом влево, внимательно осматривая себя. Форма сидела безупречно. Всё было в порядке. Он надел фуражку и спустился по лестнице офицерского общежития.

Пройдя по проспекту Ленина в начищенных до блеска сапогах, Иван свернул на улицу Якоба Коласа и вышел к посёлку, где жила Барбара.

В посёлке не было привычного деления на чётную и нечётную стороны. Дома нумеровались подряд и тянулись один за другим извилистой цепочкой среди вырубленного в лесу пространства. Её дом был под номером два

Иван постучал.

Дверь открыла Барбара.

На ней было лёгкое приталенное платье с короткими рукавами-валанами. Она выглядела нарядной и немного взволнованной. Между её комнатой и комнатой Марии убрали простыню, которая раньше служила перегородкой. Пространства стало почти вдвое больше. В центре стоял накрытый к приходу гостя стол.

Марек и Томас, одетые в форму ремесленного училища, сидели у окна. Они с любопытством разглядывали жениха.

Мария пожала Ивану руку и указала на место за столом. Он сел рядом с Барбарой.

Мария аккуратно пригладила платье из китайского шёлка и устроилась напротив. Ей хотелось как следует рассмотреть будущего зятя. На шее у неё лежали красные коралловые

бусы — ещё материны, доставшиеся от Анфисы. Они хорошо сочетались с пёстрым платком, накинутым на плечи.

Джульетта под общий смех нырнула под стол, а через секунду вынырнула между братьями. Марек посадил её к себе на колени.

Сначала говорили о погоде, городских новостях, вспоминали общих знакомых. Разговор шёл ровно, но недолго. Темы быстро иссякли.

Мария вздохнула и с какой-то усталой прямоотой сказала:

— Значит... вы её у нас забираете.

В комнате повисла пауза.

Барбара не дала ей затянуться.

— Нет же, мама. Он не забирает меня. Он женится на мне.

Мария перевела взгляд на Ивана.

— Где же вы будете жить?

— Иван хочет построить дом. Там и будем жить, — ответила Барбара.

— Дом... — тихо повторила Мария. — Мы до этого вагончика в земле жили... А он дом построит...

Иван подался вперёд.

— Мария Архиповна, я уже говорил с начальником. Он поможет, замолвит слово перед председателем горисполкома. Нам выделят разрушенный дом. Хозяев у него нет, там одни руины. Я его надстрою — из того, что удастся найти. Будем жить. По-своему... даже оригинально. Дом на руинах.

Мария покачала головой.

— Дом на руинах... И жизнь на руинах... Не знаю. Вам решать. А как же институт? А если дети пойдут, как ты учиться будешь?

— Мама, не волнуйся. Мы справимся, — спокойно сказала Барбара.

Мария снова посмотрела на Ивана.

— А сколько вам лет?

— Тридцать пять.

— Не староваты ли вы для нашей Барбары?

Барбара не выдержала.

— Мама... У нас будет ребёнок. Я беременна.

— Ух ты! — одновременно воскликнули Марек и Томас. — Так мы почти дяди!

Барбара смущённо улыбнулась.

— А ты, Джульетта, будешь тётей, — сказал Марек, наклоняясь к сестре.

Все засмеялись.

Только Джульетта не смеялась.

Она всё это время молча сидела и внимательно смотрела на Ивана. Не ела, не пила чай, не тянулась ни к сахару, ни к сухарям. В её взгляде было что-то серьёзное, совсем не детское.

Иван почувствовал на себе этот взгляд.

Он решил заговорить с ней.

— Привет. Ты в каком классе?

— Во втором.

— Нравится в школе?

— Нет.

— А что тебе нравится?

— Колдовать.

— У тебя есть волшебная палочка?

— Есть. Вот.

Она протянула руку из-под стола. В маленьком кулачке была зажата короткая сломанная ветка.

— Ого... Серьёзная палочка. А можешь что-нибудь наколдовать?

— Конечно. Хочу, чтобы ты исчез.

Все снова рассмеялись.

— А почему ты этого хочешь? — удивился Иван. Он и сам не заметил, как увлёкся разговором.

Джульетта посмотрела ему прямо в глаза.

— Потому что ты старый.

Свадьбу решили сыграть этим летом. Тянуть не стали. Погода уже установилась, и, как уверяли местные старожилы, никаких природных сюрпризов не ожидалось.

Пригласили около пятидесяти человек — самых близких родственников, друзей, коллег по работе и учёбе. Со стороны жениха и невесты выбрали свидетелей.

Среди гостей были военный комендант Загуляйко с женой Клавой — подругой Марии, а также военком Зубарев. Именно он помог оформить разрушенный дом на имя Ивана.

Подходящего помещения не нашлось. Ни спортивный, ни актовый зал для свадьбы не подходили. Поэтому торжество решили провести на поляне неподалёку от посёлка. После застолья гости без труда могли разойтись по домам пешком. О ночёвке никто даже не думал.

Глава 16. Свадьба

Столы расставили буквой «П». Во главе приготовили места для молодожёнов. Рядом должны были сидеть свидетели. По обе стороны разместили родителей, а дальше — остальных гостей.

По случаю торжества горисполком выделил молодожёнам трофейный «Мерседес» с открытым верхом.

Гости собрались у здания ЗАГСа. Люди переговаривались, смеялись, обменивались новостями. Каждую минуту кто-нибудь оборачивался к дороге — не покажутся ли наконец жених с невестой. Небольшое опоздание объяснялось старым свадебным обычаем — выкупом невесты. Конечно, никто не собирался платить за Барбару ни копейки. Но сам обряд — весёлая словесная перепалка между роднёй и друзьями — сохранился, подчёркивая, что невеста бесценна.

Наконец у входа остановился «Мерседес». За рулём сидел солдат-срочник. Машина подъехала с лёгким, почти нарочитым опозданием — так требовал свадебный этикет.

— Ура! — закричали гости.

Барбара и Иван вышли из машины.

На невесте было настоящее свадебное платье, взятое напрокат в ателье. Длинное, белое, оно почти полностью скрывало туфли и высокие гольфы. Фата из контрабандного тюля покрывала голову и мягко ложилась на плечи, а среди тёмных волос виднелась розовая искусственная хризантема. В руках Барбара держала букет белых роз.

Иван стоял рядом в парадной форме. Тёмно-зелёный китель с золотыми погонами и эполетами, пуговицы с пятиконечной звездой. Галифе того же цвета с красными лампасами.

Сапоги начищены до зеркального блеска. Фуражка с зелёным околышем и чёрной тульёй. Артиллерист.

Свидетельницей со стороны Барбары была Наташа — девушка Томаса. На ней было модное платье: от талии расклёшенное, с короткими рукавами, из бордового бархата. Плотная ткань явно не подходила для тёплого дня. Наташа не выпускала из рук веер и непрерывно обмахивалась. Кто-то сунул его ей перед самым началом церемонии, и теперь она держалась за него как за спасение. Несмотря на это, выглядела она безупречно.

Свидетель со стороны жениха служил вместе с Иваном. От военной формы он отказался и надел гражданский костюм — широкий, двубортный, коричневого цвета. Белая рубашка, коричневый галстук и лакированные туфли — всё было взято напрокат.

Директор ЗАГСа вышла к молодым. Крупная женщина в кремовом трикотажном платье. На груди красовался огромный цветок неопределённого вида. Она поздравила новобрачных с созданием новой семьи и пожелала им долгой и счастливой совместной жизни.

Затем открыла коробочку с кольцами. Их выковал ювелир по ленинскому способу — из медных пятак. Она протянула коробочку молодым.

Иван и Барбара обменялись кольцами.

После этого Барбара повернулась спиной к подругам и, не оглядываясь, бросила букет в толпу девушек. По традиции считалось, что та, которая его поймает, скоро выйдет замуж.

Букет достался однокурснице Барбары — высокой, плотного телосложения девушке. Она не скрывала своей радости, показывала добычу всем подряд, словно настоящий трофей. Но взгляд её то и дело возвращался к юноше, стоявшему в стороне, прислонившись к стене. Он был один. Похоже, у неё на него уже были свои планы.

Молодожёны поставили подписи в книге регистрации браков. Им выдали свидетельство в твёрдой обложке.

С этого момента они стали мужем и женой.

Под громкие аплодисменты Иван и Барбара вышли из здания, спустились по лестнице к ожидавшему их «Мерседесу» и заняли свои места. Машина тронулась. Клаксон разрывал воздух короткими сигналами.

Кортеж гостей двинулся следом.

Все направлялись на лесную поляну, где уже ждали накрытые столы, оживлённые разговоры и неизбежные свадебные сплетни.

Из-за нехватки белых скатертей столы, расставленные буквой «П», накрыли красным кумачом. Долгое время он лежал без дела в ленинской комнате военкомата, а теперь оказался как нельзя кстати.

Из расчёта одна небольшая свинья на десять человек на вертелах, над костром, запекались пять свежезаколотых туш. Их подарили к свадьбе подшефные колхозы. К приходу гостей свиней переложили на огромные блюда. В румяные бока воткнули большие разделочные ножи и вилки, а вокруг разложили поджаренные потроха.

Между мясными блюдами стояли горшки с отварным картофелем. Рядом разместили солёные огурцы, квашеную капусту, патиссоны и помидоры. В плетёных корзинах лежал свежий белый хлеб с румяной корочкой, нарезанный крупными ломтями. Его только что доставили из центральной пекарни, и он источал густой, тёплый запах свежей выпечки.

Тарелки с репчатым луком, чесноком, морковью, яблоками, сливами и абрикосами служили холодной закуской перед главным угощением.

На столах в изобилии стояли огромные бутылки первого класса самогона. Казалось, они сами заявляли о своей неисчерпаемости. Яблочный компот заранее разлили по стаканам — для детей.

Гармонист пришёл раньше всех. Он был одет по последней моде: чёрный двубортный костюм с широкими плечами, красная рубашка-косоворотка, лакированные сапоги, в которые были заправлены брюки. Он достал инструмент из футляра, устроился на табуретке чуть в стороне от столов и положил на колени блестящий аккордеон фирмы «Скандалли».

Затем размял пальцы.

И наконец в тишине разлилась стремительная мелодия «Полёта шмеля». Быстрые арпеджио сыпались одно за другим, демонстрируя почти молниеносную технику исполнителя. Когда пассаж стремительно ушёл вниз, гармонист наклонил голову, и фуражка с ярким цветком соскользнула. Открылись тщательно набриолиненные волосы с ровным пробором посередине.

Он остановился, поднял фуражку, надвинул её глубже и продолжил разминку, словно ничего не произошло.

Повар из офицерской столовой, где работали Зинаида и Наташа, приготовил к празднику главное угощение на сладкое. Огромный пирог занял сразу два больших противня. Тесто было дрожжевым, начинка — яблочное повидло.

На таких праздниках повар всегда давал волю своей фантазии.

Его выпечка никогда не была просто сдобой — каждый раз получалось настоящее произведение искусства. Бока и верх пирога украшали затейливые вензеля. В центре возвышались две фигурки, вылепленные из теста. Они изображали жениха и невесту в танце. Их румяные лица даже отдалённо напоминали Ивана и Барбару.

Новобрачные не стали дожидаться остальных. Отогнали назойливых мух и сразу сняли пробу с запечённой печени, сердца и почек, разложенных вокруг жареной свиньи. Закуска оказалась что надо — под неё хорошо пошла и стопка самогона.

Иван осторожно, двумя пальцами, выловил из стакана муху, попавшую в заранее разлитый компот, посмотрел жидкость на свет и признал:

— А ведь ничего... вполне прилично.

Барбара приподняла платье, чтобы не цепляться за сочную высокую траву, и направилась к лесу — пройтись, осмотреться. Иван, не раздумывая, пошёл следом.

В глубине леса, возле тонкой берёзы, они остановились. Ствол был тёплым от солнца. Барбара прислонилась к нему спиной. Иван подошёл ближе. Его объятие оказалось крепким, почти жадным. Поцелуи были долгими, горячими, без единого слова.

Гости появились как раз вовремя.

Говорливая, шумная толпа заполнила тропу, ведущую к поляне. Солнце уже не пекло, а мясо с картошкой ещё не успели остыть.

Тамада шёл впереди. Лицо сосредоточенное, взгляд внимательный. В голове один за другим прокручивались конкурсы, шарады, шутки и заготовленные экспромты — всё было заранее разложено по полочкам.

Когда все расселись, первое предложение прозвучало без лишних вступлений:

— По штрафной! За опоздание!

Стопки дружно подняли. Выпили.

За столом на несколько минут стало тихо. Гости ели свинину с картошкой и соленьями, наслаждаясь вкусом праздничной еды.

Пауза между тостами затянулась ненадолго.

— Между первой и второй перерывчик небольшой, — напомнил тамада.

Вторая пошла легко.

За ней последовала третья — уже без лишних слов. Идея словно сама витала в воздухе, и никто не возражал.

Четвёртую подняли за жениха и невесту.

Тамада сделал глоток, поморщился и громко заявил:

— Горький! Самогон-то горький!

— Точно, горький! — подхватили со всех сторон.

— Горько! — завизжали женщины.

— Горько! Горько! — уже скандировал весь стол.

Иван и Барбара поднялись со своих мест. Раздались смех, крики, одобрителный гул.

Молодые слились в долгом поцелуе.

— Раз! Два! Три! — дружно считали гости, нарочно растягивая счёт, чтобы поцелуй длился как можно дольше.

Гармонист заиграл кадрили.

Музыка разлилась по поляне, и народ сразу ожил. Пары закружились, кто как умел. Сам гармонист уже был навеселе. Аккордеон крепко держался на груди, а ноги сами отбивали чётку. Пару раз он даже лихо присел — не очень глубоко, зато от души.

Тамада тем временем отвёл в сторону тех, кто хотел поучаствовать в конкурсах.

Игры пошли одна за другой. Заданий оказалось много, и фантазия у ведущего, казалось, не знала границ. Народ быстро втянулся, смеялся, подзадоривал друг друга.

Самым шумным оказался конкурс для танцующих пар. Участникам всячески мешали танцевать — бросали под ноги всё, что попадалось под руку. Кто-то кидал платки, кто-то — пустые бутылки, кто-то — сосновые шишки.

Один особенно находчивый мужчина не нашёл ничего подходящего и просто сам бросился под ноги танцующим.

Смех стоял такой, что музыка временами тонула в нём.

В итоге победила, как и полагается, дружба.

Уставшие, разгорячённые гости начали возвращаться к столам. В центре поляны уже установили треноги. На них поставили противни с пирогом, разрезанным на крупные порции.

Праздник только набирал обороты.

Многие гости пришли с детьми. Малышам быстро надоело чинно сидеть за столами. Шипение мамаш не помогало — детвора вырвалась на луг и носилась по нему как угорелая. Время от времени кто-нибудь подбегал к своим, чтобы выпить компота или молока, и тут же снова исчезал в высокой траве.

Мальчишки, стриженные под бобрик, выглядели почти одинаково. Чёрные брючки, белые рубашки, верхние пуговицы застёгнуты — всё как у отцов, только в уменьшенном размере.

Девочки щеголяли косичками с тугими бантами. Платья им шили из старых занавесок. Сверху нашивали ещё один слой — из гардин. Такие наряды казались мамашам особенно нарядными и праздничными.

Джульетта поначалу сидела за столом тихо. Она единственная из детей побывала на церемонии в ЗАГСе и держалась серьёзно, словно понимала важность происходящего. Но это продолжалось недолго.

Вскоре девочка уже носилась по лугу вместе с остальными. В руке она держала прутик, сорванный с куста. Воображение работало вовсю: прутик превращался в волшебную палочку. Джульетта на бегу «заколдовывала» других детей. Тот, кто не успевал увернуться, должен был превратиться в статую и замереть на месте.

К вечеру силы у детворы иссякли. Беготня стихла. Ребята потянулись к родителям, начали капризничать, зевать, тереть глаза. Многие уже откровенно клевали носом и едва не сваливались со стульев.

Джульетта тоже устала. Взгляд её потяжелел, движения стали вялыми.

Подошла Наташа, взяла девочку за руку и увела спать.

Перед уходом Джульетта подошла к Барбаре, обняла её, поцеловала и тихо спросила:

— Ты же меня не бросишь?

Барбара наклонилась к ней.

— Конечно нет. Даже не думай об этом.

Иван улыбнулся и, желая её поддразнить, спросил:

— Джульетта, ты всё ещё хочешь, чтобы я исчез?

Девочка серьёзно посмотрела на него.

— Пока нет.

Постепенно гости начали расходиться. Луг пустел. Детей уже не было видно. Время приближалось к полуночи, и за столами остались самые стойкие.

Загуляйко, порядком подвыпивший, сидел, уставившись в наполненную стопку самогона. Взгляд был тяжёлым, мысли путались, но желание высказаться становилось всё сильнее.

— Нет, я, конечно, понимаю, что говорю не к месту... — начал он медленно, с нажимом.
— Но хочу поставить вопрос ребром. Риторический.

Он поднял голову и обвёл взглядом сидящих.

— Какого рожна не хватало этому психу Завьялову, а? Ну вот ответьте мне.

Повисла пауза.

— Думаете, никто ничего не знал? Знал я. Всё знал. Как выпьет — так и начинал выкладывать. Про своих жмуров... как они по ночам приходят. Все свои тайны, как ему казалось, открывал.

Загуляйко криво усмехнулся.

— А наутро — чисто. Ничего не помнит. Будто и не было ничего.

Он постучал пальцем по стопке.

— Теперь ко мне будет ходить. По ночам. Ну и пусть... Я его встречу. Вот так вот и встречу.

Майор Загуляйко начал расстёгивать кобуру, на мгновение забыв, что в ней лежит всего лишь огурец. Табельный «ТТ», как и всегда, покоился в левом кармане галифе.

Уставившись на увядший овощ, он выпучил глаза, криво усмехнулся, откусил кусок и принялся шумно его пережёвывать.

Мария сидела рядом и всё слышала.

— Нет, Коленька, приходить он будет ко мне. Я во всём виновата, — тихо сказала она.

— Не говори чепухи, — отрезала Клава. — Ты ни в чём не виновата. Каждый получает то, что заслужил.

— Тот заслужил, этот заслужил... А я? Чем я заслужила, что Вася не возвращается?

Загуляйко на секунду замер, потом, словно отгоняя тяжёлую мысль, глухо произнёс:

— Вернётся... Ты только жди.

Кто-то за столом попытался разрядить настроение:

— Друзья, не будем грустить. Сегодня у тебя праздник, Мария. Дочь замуж выходит. Давайте выпьем за молодых, за их будущее.

Военком Зубарев сразу подхватил:

— Вот именно! Будущее у них в руках, а наше дело — подсобить. Я, к примеру, насчёт Ивана уже договорился — вопрос с домом решён. Он мне как сын. Ну что, майор, наливай. И где гармонист? Тащите его сюда!

Гармониста нашли на соседней опушке. Полусонный, пьяный, с травой в растрёпанных волосах, он лежал у самого ручья. Ещё немного — и мог захлебнуться: лицо почти касалось воды.

— Ну же, друг сердечный, сыграй нам «Брестскую улицу», — попросил Зубарев.

— Легко... — отозвался тот, приходя в себя.

Он устроился на стуле, прижал гармонь к груди и заиграл, отбивая ритм ногой.

Загуляйко поднялся, щёлкнул сапогом о протез и пригласил Марию на танец. Она молча протянула ему руку. Зубарев, не раздумывая, увлёк Клаву.

Две пары закружились. Они то и дело сталкивались, наступали друг другу на ноги, сбивались с шага, извинялись и снова пускались в пляс.

Клава заметила, что при каждом сближении руки мужа сами собой ложатся на бёдра Марии. При очередном столкновении она ловко смахнула их в сторону.

«Сколько волка ни корми — всё туда же», — с лёгкой, понимающей улыбкой подумала она.

Глава 17. После свадьбы

Жить молодожёны стали в тесном доме Барбары — под одной крышей со всей её семьёй. Так решила Барбара, и Иван согласился, хотя комната в общежитии по-прежнему оставалась за ним и они могли перебраться туда в любой момент.

На это, казалось бы, странное решение повлияла истерика Джульетты. Девочка обвиняла старшую сестру в том, что та нарушает своё обещание — ведь она говорила, что никогда её не бросит. Барбара очень любила младшую сестру и решила, что, как сказал Иван, лучше уступить, чем причинить ребёнку душевную боль.

У Джульетты незаметно для окружающих появилась болезненная привязанность к своим близким. Каждый член семьи принадлежал только ей, и любое появление «чужого» она воспринимала, как угрозу. Взрослые замечали её ревность, но не придавали ей большого значения. Все были уверены, что со временем девочка перерастёт это сама.

Иван любил Барбару, и после свадьбы её желания стали для него законом. Он не думал о предстоящих неудобствах, о тесноте, об отсутствии привычного уюта. Барбара стала для него путеводной звездой, и он с искренней радостью, почти с восторгом, принимал всё, чего она хотела.

Узкая железная кровать с пружинами, которая, казалось, скрипела сама по себе, старый комод, стул да зеркало — вот и всё убранство их небольшого пространства, отгороженного простынями. В этом импровизированном уголке Ивану предстояло жить с молодой женой, пока не будет построен собственный дом.

С одной стороны за тонкой тканевой перегородкой ютился Марек, с другой — за занавеской находилась «комната» Марии и Джульетты. Такое соседство возникло по желанию самой Джульетты — ей хотелось быть как можно ближе к сестре. Хотя у молодых была возможность занять более удобный угол, принадлежавший Томасу, решили ничего не менять и не переносить вещи с места на место.

В общий коридор вела двойная занавеска, распахивавшаяся в обе стороны. Передвигаться приходилось осторожно, на цыпочках, а разговаривать — вполголоса или вовсе жестами.

Звукоизоляции не существовало: каждый шорох, каждое слово становились достоянием всей семьи.

Поэтому все невольно задавались вопросом, как молодые будут устраивать свою семейную жизнь. Летом ещё можно было уйти в лес, за дом или просто на улицу. А вот зимой деваться было некуда.

Иван, впрочем, не сомневался, что справится. В его воображении будущий дом уже стоял — крепкий, просторный, свой. На строительство он отводил не больше полугода и верил в это безоговорочно.

Марек тем временем вынашивал собственный план. Втайне от всех он решил исчезнуть — но только после того, как окончательно разорвёт отношения с Зинаидой. С каждым днём в нём всё крепло ощущение, что оставаться здесь нельзя.

После окончания ремесленного училища он не собирался идти работать токарем на завод и утонуть в бесконечной металлической стружке. Он не считал себя глупцом и верил, что обязательно найдёт способ вырваться из этого маленького, давно опостылевшего города.

Армия — вот где он видел своё спасение. А ещё лучше — флот. Там служба дольше, а значит, прежняя жизнь останется ещё дальше. Служи себе, ни о чём не думай: накормят, спать уложат, порядок обеспечат. Да и с девчонками, как он считал, проблем не возникнет — не всякая устоит перед матросом в красивой морской форме.

Эта мысль одновременно радовала его и успокаивала. Женщины стали для него необходимой частью жизни. Все мечты о будущем неизменно были связаны с ними. Любые препятствия на пути к ним рушились в его воображении, как картонный домик. Неважно, что стояло между ним и желаемым: бронированные борта линкора или сотни километров океана. У Марека всегда был план.

У Томаса был лучший отсек — единственный, где стояла настоящая деревянная стена. Перед тем как уснуть, он вспомнил Наташу: как она стонет, как пахнет, как он её любит. Эти мысли не отпускали. Пришло время что-то менять. Бесконечные свидания в лесах и на лугах начинали казаться детскими, несерьёзными. Сестра подала пример, и Томас всё чаще думал о том, что скоро сделает Наташе предложение. Она даже не догадывалась, какой сюрприз ждёт её буквально через несколько дней.

Свет был потушен, и, казалось, в доме уже все спали. В темноте слышалось прерывистое дыхание Марека.

И шёпот Барбары:

— Ванечка, как ты это себе представляешь?.. Нет, нет, они все проснутся. Давай спать.

— А ты повернись на бочок, я тихонько... — шептал Иван.

— Всё равно будет слышно.

— Не беспокойся. Давай. Мы же аккуратненько. Поворачивайся...

— Да не могу я аккуратненько. Кровать скрипит...

И вдруг из-за простыни прозвучал ровный, спокойный голос Джульетты:

— Я всё слышу.

Шёпот оборвался. Шелест белья стих. Иван и Барбара замерли. Ощущение было таким, будто их застали на месте преступления. Сердца заколотились. Наступила тишина.

Мария, лёжа в своей постели, прикрыла ладонью рот, сдерживая смех.

Утро пришло быстро.

Иван поднялся с ломотой во всём теле — сказалась неудобная поза, в которой он проспал всю ночь. Голова тяжело гудела после самогона. Он быстро, по-военному, умылся, побрился, недовольно посмотрел на опухшее лицо в зеркале, вместо завтрака выпил полтора литра воды и, надев начищенные до блеска сапоги, вышел на пыльную дорогу — на службу.

В строевой отдел он пришёл вторым. Первой была Фаня.

На свадьбе её не было, и теперь любопытство брало верх. Ей хотелось узнать всё, да ещё и из первых уст. В Иване она видела прежде всего коллегу, который оказался главным виновником торжества. Церемониться не стала и, не слишком задумываясь о приличиях, навалилась полной грудью ему на плечо, засыпая вопросами о первой брачной ночи и требуя подробностей.

Иван не был трепачом. Может быть, близкому другу он бы что-нибудь и рассказал... Но рассказывать, по сути, было нечего. Разве что о том, как маленькая девочка умело управляет и им, и его женой.

Он лишь многозначительно улыбался и молча перебирал бумаги на столе, просматривая свежую корреспонденцию, которую Фаня уже успела разложить.

И вдруг взгляд зацепился за один из листов.

Разглаженный — видно, после того как его сложили вчетверо. В левом верхнем углу — «шапка» на имя подполковника Зубарева. Ниже — коротко и чётко:

Заявление.

Я, Коновалов Марек, прошу принять меня на службу в Военно-морской флот.

Город Могилёв.

Дата.

Подпись.

«Вот так дела...» — подумал Иван.

С одной стороны, всё правильно. Служить должны все. С другой — можно было хотя бы посоветоваться. Не чужие ведь люди. И спешить-то куда? Хотя... служба — дело такое: чем

раньше, тем лучше. А с третьей стороны, он прекрасно понимал: Марек наверняка знал, что Иван стал бы его отговаривать. И неудивительно. Флот — не шуточки.

В этот момент в приоткрытую дверь строевого отдела показалось опухшее лицо Зубарева.

— Молодожён, как дела? Голова, наверное, болит? — громко произнёс подполковник, обращаясь к Шинкарёву и одновременно подмигивая Фане. — А у меня болит... Да ещё и слышать стал хуже. Самогонка, видать, карбидная была. В башке будто набатный колокол бьёт, — не дожидаясь ответа, продолжил он. — А ведь всё так интеллигентно начиналось... Хорошо хоть без драки обошлось, и на том спасибо. Ну что, желаешь полечиться? Милости просим, у нас есть...

В его голосе прозвучал вполне понятный намёк.

— Так точно, товарищ подполковник, желаю. Вы, как всегда, в самую точку, — подхватил Иван и направился вслед за Зубаревым в кабинет.

Сейф, а точнее — несгораемый шкаф, выкрашенный серой эмалевой краской, хранил не только документы. В глубине, словно неприкосновенный запас, стояли две бутылки водки. Не суррогат — настоящая, заводская, с этикетками и пробками. Этим «лекарством» Зубарев лечил всё: от душевных мук до банальной простуды.

Привычка врачеваться подобным образом появилась не в мирной жизни — её принесла война. На фронте пили всё, что горело: спирт, самогон, одеколон, да и такую дрянь, которую в другое время никто и нюхать бы не стал. Не выпьешь — не притупишь страх. А без этого идти в атаку было почти невозможно. Ноги не слушались, подгибались, сердце замирало.

Стоило представить смерть совсем рядом, как исчезали и громкое «ура», и призывы идти вперёд за Родину. Оставалось только одно желание — где-нибудь укрыться и пережить этот бой.

Любое спиртное, пусть даже денатурат, делало своё дело: страх отступал, а исподнее оставалось сухим, что в окопной жизни тоже имело значение.

Этим утром Зубарев проснулся в холодном поту.

Ему снова снилась война. Политрук кричал, гнал вперёд — в атаку, под шквальный пулёмётный огонь. Бежать приходилось прямо навстречу смерти, а дальше — как повезёт.

Всю войну Зубарев думал, что погибнет в следующем бою. Но вышло иначе. Он дошёл до Берлина без единого ранения, без единой царапины. Ни осколка. Ни пули.

Кто его хранил — ангел или сам чёрт, — он не знал. Да и не считал это важным. Главное — остался жив. Значит, везунчик.

Так он себя и называл. И не только из-за войны.

К сорока двум годам Зубарев так и не женился. Никто не пилил его, не устраивал сцен, не проверял и не контролировал. С женщинами, как ни странно, ему тоже везло. Возможно,

потому, что выглядел он значительно моложе своих лет — лет на тридцать с небольшим. Подтянутый, без живота, без лишнего веса, несмотря на постоянное соседство с бутылкой, с неизменными мешками под глазами и лёгкой хмельной развязностью, он умел нравиться женщинам.

Может быть, сказывалась татарская кровь. Сам Зубарев любил повторять, что у татар молодость заложена в генах. Религиозные запреты его не трогали. Он был убеждённым атеистом, хотя вырос в семье, где строго соблюдали мусульманские традиции.

О своей национальности Зубарев никогда особенно не задумывался. Считал себя русским — и точка.

Но внешность иногда говорила об ином: коротко остриженные чёрные волосы без единого седого волоса, крупные карие глаза с лёгкой миндалевидностью, высокие скулы, аккуратный нос, тонкие губы.

Впрочем, окружающим было совершенно всё равно — татарин он или русский. С детства каждый слышал: копни русского — найдёшь татарина, копни татарина — найдёшь русского.

Родные жили в Ленинграде. Большая, шумная семья, ставшая теперь далёкой.

Иногда Зубарев позволял себе помечтать, представляя, будто он какой-нибудь дальний потомок князя Юсупова. Но тут же одёргивал себя, вспоминая, что дед и прадед всю жизнь проработали дворниками в городе на Неве.

Тогда он с усмешкой сплёвывал в сторону и хлопал себя ладонью по лбу — за собственную глупость.

— Ну, капитан, за жену твою — за Барбару. Чтобы у вас всё было путём, чтобы детишек — мал мала меньше, чтобы счастье не отпускало, а здоровьишко только прибавлялось, — провозгласил тост подполковник и залпом осушил гранёный стакан, доверху наполненный водкой.

— Спасибо, товарищ подполковник, — ответил Иван и, не отставая, выпил свой.

Офицеры откинулись на спинки стульев и закурили папиросы. Пепел лениво осыпался в тяжёлую медную пепельницу, доверху набитую окурками, неизменно стоявшую посреди стола. Сизый дым стелился над зелёным сукном, поднимался к потолку и медленно растворялся в тёплом воздухе.

Иван немного помолчал, потом заговорил:

— Сегодня с утра документы смотрел... И знаете, что нашёл? Заявление на флот. И знаете от кого? Не поверите... От моего свояка, Марека. Хочет служить.

Зубарев оживился.

— Отличная идея у твоего свояка. На кой ему это захоlustь? Мир посмотрит, жизненного опыта наберётся, себя устроит. Сам знаешь, армия — ещё те университеты.

— Всё это так... — задумчиво произнёс Иван. — Только он ведь, по сути, уходит из дома навсегда. Мать, брат, сестра... Это же его мир. Как он без него будет?

Подполковник усмехнулся, но без злости.

— Да как-нибудь справится. Не он первый, не он последний. А что мать бросает... Так это судьба всех матерей. В конце концов — одиночество. И ничего тут не попишешь.

Он наклонился вперёд, упёрся локтями в стол и продолжил уже спокойнее:

— Посмотри, как всё выстраивается... Будто под линейчку. Сначала Марек уйдёт. Потом Томас. Барбара — хоть ты этого и не хочешь признавать — уже ушла. Потом и Джульетта подрастёт. И останется Мария одна... как король Лир. Это ещё если повезёт и кто-нибудь из детей заберёт её к себе.

Иван поморщился.

— Что-то вы уж совсем сгущаете, товарищ подполковник. Может, не всё так плохо?

— Нет, Ваня, не сгущаю, — спокойно ответил Зубарев. — Я не про ваш случай. Я про жизнь вообще. А если по-простому — всё у твоего Марека будет нормально. Послужит, окрепнет, профессию освоит, невесту найдёт, женится, детей заведёт.

Он оживился, словно увидел эту картину перед собой.

— Говоришь, на флот хочет? Так я его на Балтику отправлю, в Ленинградский военный округ. Там, в северной столице, такие девки — огонь. Поверь мне, я-то оттуда. Не пропадёт он.

Подполковник резко хлопнул ладонью по столу.

— Наливай!

Они снова выпили по стакану и тут же закурили по новой папиросе.

Иван, немного помедлив, задал вопрос, который волновал его куда сильнее, чем разговор о жизненном опыте Марека.

— Товарищ подполковник... А как насчёт дома?

Зубарев прищурился.

— Насчёт дома? Какого дома?

— Моего... На руинах. Там ведь разрешение нужно было...

— А-а... Разрешение, — протянул он и небрежно махнул рукой. — Есть уже. Всё улажено. Можешь начинать.

Иван оживился.

— Правда?

— Конечно. Стройматериалы, гвозди — всё, что понадобится, достанем. Ты только список составь, подробный. А дальше — с миру по нитке соберём.

— Понял. Пойду к себе, составлю.

— Иди, составляй, — кивнул подполковник.

Иван вышел.

Зубарев поднялся, неспешно подошёл к двери, запер её на ключ. Вернулся к столу, налил в стакан остатки водки и выпил, не закусывая.

Потом прошёл за ширму, где стоял скрытый от посторонних глаз кожаный диван, тяжело опустился на него и почти сразу уснул.

Проснулся он ещё до наступления темноты. Бросил взгляд на пустые бутылки из-под водки и сразу пожалел, что выпил всё до последней капли. Теперь оставалось либо бежать в буфет, если тот ещё не закрылся, либо идти к местному самогонщику за этим чёртовым карбидным пойлом. Всё лучше, чем ничего.

В буфет он ввалился за пять минут до закрытия — повезло. Перебросился парой шуток с продавщицей, купил уже не две, а три бутылки водки, сто граммов московской карамели, две пачки «Беломора» и, отпустив высокой голубоглазой блондинке комплимент, поспешил обратно — на службу.

По дороге в голову неожиданно пришла мысль написать старшему брату. Узнать, как родители, живы ли... За всё время после ухода из дома он не отправил им ни строчки. А ведь за эти годы могло случиться всё что угодно. Может, родителей уже нет. Может, осталась только племянница — выросла, стала совсем взрослой.

Мысли потянулись одна за другой. Ленинград. Девушки. Марек — свояк Ивана. Балтийский флот. И вдруг — лицо племянницы. Детское, расплывчатое, которое он уже почти не помнил.

«Нужно написать. Повод есть... Ещё немного — и разрыв с семьёй станет окончательным», — подумал он.

Но садиться за письмо не хотелось. Слишком трудно было начать. Всё получалось сухо, неестественно, словно пишешь по обязанности, а не от сердца. Да и о чём писать после стольких лет?

Была и ещё одна тяжёлая мысль. Блокада. Священная для всей страны тема.

А он так и не спросил. Не поинтересовался. Не попытался узнать, как они там жили, как выживали.

Стало не по себе. Будто предал их всех.

«Нет... Не буду писать. Пусть всё остаётся как есть. И точка», — решил он.

Но почти сразу появилась другая мысль.

«Лучше дам Мареку адрес брата. Пускай он напишет. А там видно будет... Может, они уже и не живут там».

Однако легче не стало.

Зубарев вдруг поймал себя на том, что ему необходимо узнать правду. Живы ли они. Или он уже действительно остался один на всём белом свете.

В груди поднялось знакомое волнение — почти такое же, как перед боем.

Он остановился, откупорил бутылку и сделал долгий, уверенный глоток прямо из горлышка.

Глава 18. Дом для Галактики

Для Ивана строительство дома было делом привычным, можно сказать родным. В его родной станице дома ставили всем миром. Хуторяне собирались вместе, и каждый приносил на стройку то, что мог: кто доски, кто инструмент, а кто просто свои руки и время.

Начинали всегда с погреба. Он занимал в хозяйстве особое место. Там хранили всё: утварь, запасы продуктов, соленья, инструменты. До революции и ещё долгие годы после неё казаки держали в погребах оружие и боеприпасы — от наганов с патронами до пулемётов «Льюис». Всё лежало в промасленных металлических ящиках — аккуратно, по-хозяйски.

После раскулачивания оружие пришлось сдать государству. Погреба опустели. Заполнять их стало почти нечем. Хозяйство приходило в упадок. Рабочих рук не хватало. Надвигался голод. Правительственные агитаторы уверяли, что никакого голода в стране нет. Доверчивые казаки долго верили, что беда пришла только на их хутор.

Люди отправлялись искать лучшую долю в соседние станицы. Но там происходило то же самое. Тогда стало ясно — обманывали всех. Дон загудел. Начались волнения.

Самое крупное восстание против расказачивания и раскулачивания вспыхнуло в 1920 году. Его жестоко подавили части Рабоче-крестьянской Красной армии. Затем, в 1921–1922 годах, вспыхивали новые, уже менее крупные выступления. Их тоже подавляли — быстро и беспощадно.

Борьба с казачеством продолжалась ещё долго. Выселения, расстрелы, постоянное давление — в ход шло всё. В конце концов хуторян заставили смириться. Люди, ещё недавно привыкшие жить свободно, стали осторожными и молчаливыми. Даже думать о прежней вольнице было опасно.

Руины, переданные Ивану для так называемой реставрации городским комитетом по ходатайству военкома Зубарева, когда-то были добротным сельским домом. Здесь стояли погреб, сарай и просторное подворье.

Бомба уничтожила почти всё. Уцелел только фундамент.

Он был ленточным, кирпичным и уходил в землю примерно на полтора метра. Такая глубина придавала фундаменту надёжность — проседание ему не грозило.

В погреб вела деревянная лестница. Каким-то чудом она уцелела, несмотря на разрушения. Спуск к ней проходил через изломанные, вздыбленные доски бывшего пола.

Стены погреба были выложены кирпичом и покрыты толстым слоем штукатурки. Взрывная волна местами разрушила кладку. Осыпавшиеся кирпичи и куски штукатурки лежали грудами, мешая пройти.

Старые стеллажи покосились, но не рухнули. Полки перекосило и вывернуло. На них ещё лежали груды битого стекла и фарфора — когда-то это были банки и кувшины с домашними запасами.

Еды не осталось. Зато повсюду виднелись крысиные испражнения — густо, без всякого стеснения, словно знак того, что у этого места давно появились новые хозяева.

Наверху уцелели лишь фрагменты двух стен из четырёх. Они возвышались на фундаменте, словно обрывки парусов разбитой барки, застывшей посреди суши.

Основание печи сохранилось. Оно не провалилось в погреб — повезло. Печь стояла на плотном слое земли у самого края, словно нависая над пустотой.

Оконные рамы взрывом выбило наружу. Их разметало по двору. Часть застряла веером в торчащих сломанных балках — тех самых, что когда-то держали потолок и крышу.

Стекло в рамах местами уцелело и торчало острыми зубьями, придавая развалинам злобный вид.

Крыши не было вовсе. Не осталось даже намёка на неё.

Прежде чем приступить к возведению надстройки, о которой мечтал Иван, нужно было разобрать все эти завалы. По предварительным подсчётам, мусора набиралось не меньше чем на десять грузовиков.

На первый взгляд объём работ казался поистине огромным и мог бы остудить пыл любого, кто взялся бы за такое дело. Но Иван не привык отступать от однажды принятого решения. Он давно усвоил: не так страшен чёрт, как его малюют. Главное — начать, а дальше всё пойдёт своим чередом.

Знаний, сноровки и желания у него было с избытком. Единственной серьёзной проблемой оставалось отсутствие техники. Но Зубарев настолько расположился к Ивану, что был готов помочь и в этом.

Военком в городе был человеком влиятельным. Всеобщую воинскую повинность никто не отменял, а память о войне ещё жила в каждом. Мысль о том, что однажды всё может повториться, не отпускала людей. Особенно тревожили события на Западной Украине и в Прибалтике.

Каждый, у кого подрастали сыновья или внуки призывного возраста, втайне надеялся уберечь их от возможной беды. Поэтому Зубареву редко отказывали. Напротив, многие сами предлагали помощь, порой раньше, чем он успевал о ней попросить.

Весть о том, что военком взял шефство над Иваном, быстро разнеслась по городу. Руководители строительных и транспортных организаций один за другим предлагали содействие: транспорт, материалы, рабочие руки, а иногда и просто добрый совет.

Зубарев ничего не отвергал. Всё принимал спокойно, с благодарностью и расчётом на будущее сотрудничество, которое чаще всего касалось уже призывников.

Дело пошло так споро, что спустя три месяца дом вместе со всем подворьем был полностью готов к жизни молодой семьи капитана Шинкарёва.

Результат поражал. В перестроенных руинах чувствовался не только человеческий труд, но и душа каждого, кто приложил к ним руки. Люди работали так, словно строили для себя.

Вместо развалин вырос новый сруб. Окна обрамляли наличники из свежего светлого дерева. Их резные узоры напоминали вологодские кружева и словно подчёркивали живучесть старого русского зодчества.

Сарай отстроили заново. Он примыкал к дому и служил то кладовой, то летней кухней. У входа на отдельном столбе висел умывальник с металлической раковиной — простое, но необходимое удобство.

Весь двор обнесли высоким забором. С одной стороны он примыкал к соседскому участку. С другой стоял утеплённый туалет с вырезанным на двери сердцем.

Во двор вели массивные двухстворчатые ворота. Прямо в одной из створок была устроена калитка. Она открывалась почти бесшумно, мягко поворачиваясь на хорошо промасленных шарнирах.

Теперь здесь уже ничто не напоминало прежние руины. Начиналась новая жизнь.

Новоселье отпраздновали шумно, широко, не хуже свадьбы. Столы накрыли прямо под открытым небом. Дождя не ждали. Небо стояло чистое, ровное, без единого облака, будто выметенное.

Позвали всех, кто участвовал в строительстве, родных, друзей и сослуживцев. Пригласили и Фаню — за время работ она фактически стала прорабом и держала всё строительство в своих руках.

Пришла она одна. И не просто так — с намерением присмотреть среди гостей человека, близкого ей по духу. Да только выбрать оказалось почти не из кого. Свободные мужчины были, но немного, да и те не спешили подходить к голубоглазой брюнетке с крутыми бёдрами и высокой грудью. Боялись. Не её самой — отказа. Того самого короткого «нет», которое могло сорваться с её пухлых губ, открывая ровный ряд белоснежных зубов.

Таких женщин в Могилёве можно было пересчитать по пальцам. Если вообще такие ещё были.

Всё, как водится, упиралось в спиртное. Пока его не подали, никто не решался пригласить Фаню на танец, хотя знакомый ещё по свадьбе гармонист уже добрых полчаса перебирал частушки, разогревая воздух весельем.

Загуляйко приехал вместе с Клавой. Она любила его какой-то особенной любовью — с лёгкой примесью тихого безумия, почти материнской заботы. Опекала, прикрывала, всегда становилась на его сторону.

Даже когда он, изрядно выпив, тянулся к чужим женским бёдрам, живым и подвижным, Клава не устраивала сцен. Не ревновала. Просто брала его под руку и уводила, словно неразумного мальчишку, спасая и его, и окружающих от неизбежных скандалов.

А потом, когда он трезвел, всё повторялось по знакомому кругу. Загуляйко становился на колени, утыкался лицом ей в живот, как провинившийся первоклашка, и просил прощения.

Клава прощала. Всегда.

Она знала: ночью он обязательно постарается загладить свою вину — старательно, честно, как умеет. Скрип их кровати говорил об этом красноречивее любых слов.

В отличие от него военком Зубарев был свободен. Ни жены, ни контроля. Делал что хотел и жил так, как считал нужным.

И, судя по его настроению в тот вечер, жалеть ему было не о чем.

Поначалу и он оробел перед красотой Фани, хотя встречал её в коридорах военкомата сотни раз. Тогда всё было иначе — служба, будни, привычные лица. А теперь перед ним словно стояла совсем другая женщина.

Лицо её было тщательно приведено в порядок: длинные подкрученные ресницы, ярко очерченные помадой губы. Пурпурное бархатное платье мягко облегалo фигуру, подчёркивая её достоинства. Шёлковые чулки облегали стройные ноги, а лакированные туфли на высоких каблуках делали каждый шаг лёгким и звонким.

Фаня казалась какой-то неземной.

Зубарев вдруг поймал себя на простой, почти детской мысли: как он раньше мог не замечать этого чуда? Где были его татарские глаза? Почему она не с ним?

Решение пришло мгновенно.

Он резко поднялся из-за стола, подошёл к ней и без лишних слов пригласил на танец.

Фаня ещё с порога поняла, какое впечатление произвела на мужчин. Но внимание самого Зубарева стало для неё полной неожиданностью. Даже сюрпризом. Впрочем, растерянность длилась недолго. Она быстро сообразила, что к чему, и с лёгкой улыбкой протянула военному руку.

И вот уже два одиночества закружились в лихой кадрили — с притопами, прихлопами и быстрыми взглядами, от которых невозможно было оторваться.

После танца Зубарев и Фаня вместе со всеми отправились осматривать дом. Но ни планировка, ни убранство их не интересовали. Они держались чуть позади остальных, нарочно отставали от общей толпы, выжидая момент, когда можно будет незаметно остаться наедине.

В большой гостиной стояла русская печь — высокая, почти под потолок, выбеленная известью, как и полагалось. Забраться на неё было непросто, но для ловкого человека это не составляло труда.

Из комнаты вели два выхода. Один — к главному входу через небольшой предбанник. Второй — в узкий коридор, по обе стороны которого располагались двери в родительскую и детскую спальни. Коридор уходил дальше, упирался в стену и поворачивал направо, к двери с щеколдой, ведущей в летнюю кухню.

Во всём этом чувствовалась рука человека, думавшего не только об удобстве, но и о самом характере будущего дома.

Осмотр закончился. Гости, пройдя через гостевую, вышли на красное крыльцо, ещё раз оглядели просторное подворье и, оживлённо переговариваясь, вернулись к столам.

Женщины проворно, со знанием дела заставили стол всякой снедью и самогоном. Из летней кухни на больших подносах один за другим появлялись запечённые в печи аппетитные индюшки, речная рыба и поросята с хреном.

Праздник набирал силу.

Танцы не прекращались до самого рассвета. Никто и не думал расходиться. Казалось, все подпитывались той особой энергией, которая рождается только в большой, шумной компании. Каждый понимал: неизвестно, когда выпадет следующий такой праздник и выпадет ли вообще. Значит, надо брать от этого вечера всё, до последней капли.

Фаня, польщённая вниманием мужчин, давно перестала считать, сколько выпила за вечер. Она заметно перебрала и в какой-то момент сама себя ввела в заблуждение, приняв Загуляйку за Зубарева. Они и впрямь были чем-то похожи, особенно в военной форме. Ошибке способствовало ещё и то, что к тому времени Зубарев уже клевал носом, склонившись над тарелкой с поросёнком под хреном, а Загуляйко, напротив, вдруг решил ненадолго почувствовать себя холостым.

Они с Фаней направились к летней кухне, стараясь не привлекать к себе внимания.

Но Клава оказалась быстрее.

Она сразу поняла, что исчезновение мужа в компании молодой красавицы ничем хорошим не закончится, и, не теряя времени, перехватила их на полпути. Ловким движением Клава вырвала своего хромого героя из рук Фани.

Загуляйко не сразу понял, что произошло. Почему перед ним уже не Фаня, а собственная жена. Впрочем, особого разочарования он не испытал.

Клава была ничуть не хуже.

А в голове мелькнула простая мысль: не стоит менять шило на мыло.

Женщин на новоселье собралось много — и замужних, и свободных. Все хозяйственные, опытные, собранные. Одни остались после праздника, другие, улучив момент между разговорами и танцами, сразу принялись за дело. Так или иначе, с уборкой управились быстро. Мужчины помогли сложить столы, убрать лавки и стулья. Ещё одна забота исчезла сама собой.

Когда гости разошлись, дом вдруг показался слишком большим. Пустым. В углах не хватало мебели, на стенах — привычных ковриков с тремя богатырями. Пространство отзывалось эхом, словно в пустом амбаре, а запах свежего дерева стоял такой густой, словно в столярной мастерской.

И в этой тишине дом только начинал становиться домом.

— Ты когда-нибудь спала на печи? — спросил Иван.

— Нет. А ты?

— О, я только там и спал. И скажу тебе — тепло необыкновенное. Но сначала её нужно растопить.

— Хорошо. Покажешь?

— Смотри. Берём лучину — тонкую щепку. Складываем поленья внутри шалашиком, поджигаем... Если дрова сухие, огонь вспыхнет сразу.

— А как там спать? Одетыми?

— Конечно нет. Кто же спит в одежде? Её оставляют внизу, на скамье.

Иван потянулся к шнуровке на вышиванке Барбары. Она подняла руки, позволяя снять её. Следом на пол мягко соскользнула юбка.

Он осторожно посадил её, и Барбара ловко забралась на печь. Иван поднялся следом.

— Как ты собираешься это делать? — тихо спросила она.

— Как обычно, — с улыбкой ответил Иван.

— Как обычно не получится... Он уже большой... Всё чувствует... Может, даже видит... Мне стыдно.

— Глупышка, — мягко сказал Иван. — Он ещё совсем маленький. Такой, что его и разглядеть нельзя. А ты говоришь о нём, как о взрослом человеке.

— Нет... Я чувствую... Как он думает... Как улыбается... Будто пальчиком нам грозит...

— Это уж совсем фантазии, милая. Ты слишком переживаешь. Тебе нужно успокоиться. Может, поговоришь с подругами... Или с мамой?

— Не хочу.

— Тогда... может, с батюшкой?

— О господи... Этого ещё не хватало.

— Почему так категорично?

— Иван, ты же коммунист. Как на это посмотрят твои товарищи?

— Да кто узнает... Что тут такого? Разве это преступление? А потом... и ребёнка можно будет покрестить...

Он сказал это спокойно, почти буднично, словно речь шла о чём-то давно решённом.

Барбара с удивлением посмотрела Ивану в глаза, пытаясь понять, шутит он или нет. Но он не шутил. Для него всё это было более чем серьёзно.

К вере Иван пришёл не вдруг, а через тяжёлую внутреннюю ломку. Душевная боль, оставшаяся после войны, не отпускала его ни днём, ни ночью. Тревога жила в нём постоянно, отзывалась дрожью во всём теле. Он пытался заглушить её водкой, как делали многие товарищи, но облегчения это не приносило.

Однажды судьба привела его к настоятелю небольшой белой церкви с синими куполами и простым, почти бедным иконостасом.

Батюшка внимательно выслушал его и спокойно сказал:

— Это грехи твои. Покайся — станет легче.

В чём каяться, Иван не понимал. Тогда священник объяснил, что человеку всегда есть в чём покаяться, потому что с рождения он несёт в себе грех. Нужно лишь признать это и открыть свою душу.

Батюшка говорил долго. Просто, без нажима, но с какой-то внутренней убеждённости. Лицо его светилось тихой радостью, словно он знал нечто важное, до чего другие ещё не дошли.

Иван слушал и верил. Сомнений не осталось.

Теперь, рассказывая об этом Барбаре, он словно сам становился похож на того маленького старичка в чёрной сутане. Голос его звучал мягко и спокойно, а в глазах светилось облегчение, будто тяжёлый груз наконец остался позади.

Он чувствовал, что открылся. Сказал самое сокровенное. Поделился с любимой женщиной тем, во что сам поверил.

Его слова звучали искренне и Барбара согласилась.

Но с одним условием — всё должно остаться в тайне. Чтобы не навредить ни ребёнку, ни им самим, ни их близким.

Прошло ещё полгода, и опасения Марии подтвердились — Барбара оставила институт. Пока лишь оформила академический отпуск на год, но было ясно: её дорога на время свернула в другую сторону.

Живот округлился и заметно выступал вперёд. Несмотря на плохую примету, Мария заранее нашла распашонки, чепчики и пижамки. Она не была суеверной. Да и времени было достаточно, а роды уже приближались. Мальчик или девочка — неважно. Всё шилось из белого ситца, на всякий случай.

Барбара пыталась помогать, но мать мягко останавливала её:

— Нашьёшься ещё.

И та соглашалась. Полулежала на скамье, подложив под бок набитую перьями подушку, и слушала, как тихонько поскрипывает новый дом.

За время беременности Барбара немного поправилась, но красоты не утратила. Наоборот, словно расцвела. Стала дороднее, осанистее, щёки налились здоровым румянцем. В ней появилось что-то тёплое, домашнее, как в только что вынутом из печи свежем хлебе.

Ребёнок ещё не родился, но казалось, что в доме их уже двое — мать и дитя.

Иван кружил рядом, как мотылёк вокруг света. Старался угадать любое её желание, предупредить любой каприз, помочь хоть чем-нибудь. Он провожал Барбару в туалет, помогал ей купаться, носил на руках. Иногда ему казалось, что, будь это возможно, он сам взял бы на себя её ношу и выносил ребёнка.

Пока же он сделал то, что было в его силах: своими руками смастерил детскую кроватку — вроде люльки-качалки. Корзина на четырёх ножках стояла на изогнутых полозьях и мягко покачивалась, словно живая.

Джульетта после школы больше не шла в финский домик. Она направлялась прямо к сестре. Игры с подружками остались в стороне. Уроки делались наспех — лишь бы поскорее освободиться.

Всё её внимание было приковано к животу Барбары.

Она осторожно касалась его ладонями, а когда изнутри следовал толчок, вздрагивала и с восторгом отдёргивала руки. Потом снова тянулась — уже смелее. Прикоснётся в одном месте — в ответ движение. В другом — снова толчок. Незаметно всё превращалось в игру.

Джульетта начинала касаться живота всё быстрее, меняла места, смеялась, не в силах остановиться. Ребёнок отвечал ей, будто принимал участие в этой забаве.

Барбару это пугало.

— Всё, хватит... довольно... остановись, — говорила она, обнимая живот и стараясь уйти в другую комнату, прикрываясь домашними делами.

И тогда на Джульетту накатывала тоска.

В такие минуты она чувствовала себя лишней. Те, кто ещё совсем недавно принадлежал только ей, — мама, сестра, — теперь словно принадлежали кому-то другому. Ребёнку, который ещё даже не родился. Он уже стал центром их жизни.

И она ревновала.

Гораздо сильнее, чем могли представить взрослые.

Мария не пыталась разобраться в том, что происходило с младшей дочерью. Не утешала её. Наверное, ей казалось, что девочка просто должна привыкнуть: стать самостоятельнее, научиться делить любовь близких с другими.

Но Джульетта привыкнуть не могла.

Она всё чаще замыкалась в себе. Всё острее ощущала себя чужой среди самых близких людей.

И сама ещё не понимала, как вместе с этой обидой внутри неё понемногу рождается холод.

И тогда маленький человек учится защищаться. Тонко. Метко. Иногда жестоко. Он начинает незаметно управлять людьми, играть их чувствами, словно игрушками, пока не добьётся своего или пока они сами не исчезнут из его жизни.

Когда-то таких детей, особенно девочек, суеверные люди называли ведьмами. Их боялись, видели в них зло и нередко жестоко расправлялись с теми, кого не могли понять.

Но Джульетта была ещё ребёнком.

И никто не мог знать, во что однажды превратится её тихая, сдержанная тоска.

Иван проснулся от толчка. Барбара тормошила его, дёргала за плечо.

— Ваня... Кажется, я рожая, — неуверенно сказала она.

Он сразу посмотрел вниз и увидел, что постель под ней промокла.

«Отошли воды», — мелькнуло в голове.

Другого объяснения он не нашёл.

Ещё в станице он не раз слышал от женщин это выражение. О родах там говорили открыто, не стесняясь даже мужчин. Эти слова крепко засели у него в памяти и всегда казались чем-то большим, ответственным и неотвратимым, как сама жизнь.

Иван вскочил.

Наспех натянул галифе, влез в сапоги и, не теряя ни секунды, подхватил Барбару на руки. В голове была только одна мысль — успеть.

Он выбежал из дома и направился к травмпункту с красным крестом на белом фоне.

Нести было тяжело. Барбара была не одна — в ней жил ребёнок, и каждое движение требовало осторожности. Силы уходили быстро. Пот заливал глаза, руки тяжелили, спину ломило.

Но Иван не остановился.

Дверь травмпункта распахнулась от удара его сапога.

Через минуту дежурный фельдшер с заспанным лицом уже суетился: грел воду, обрабатывал руки, готовил чистые простыни и полотенца. Иван стоял рядом с Барбарой и снова и снова повторял, что всё будет хорошо, что всё обязательно обойдётся.

Фельдшер, не отвлекаясь от дела, успокаивал их обоих:

— Я на этих родах собаку съел. Не впервой. Главное — ты не сдрейфь.

Он резко повернулся к Ивану.

— Будешь помогать.

— Я? — растерялся тот.

— А кто же ещё? Здесь, мил человек, никого нет. Только мы с тобой. Не бойся. Слушай внимательно и делай, что говорю. Понял?

— Понял.

— Тогда за дело. Давай, милая, тужься... Давай!

Барбара напрягалась изо всех сил. Она выталкивала ребёнка так, словно всё её тело выворачивалось наизнанку. Потуги сопровождались криком такой силы, что у Ивана холодело внутри.

Фельдшер, не теряя самообладания, спокойно произнёс:

— Плод лежит правильно. Головой вперёд.

Показалась макушка — с редкими волосами, покрытая густой кровянистой слизью.

Фельдшер, сосредоточенный, словно перед самым ответственным движением, тихо пробормотал:

— Ну, с Богом...

И осторожно помог ребёнку пройти, уверенными движениями прокладывая ему путь.

Теперь нужно было тянуть — медленно, без рывков.

Головка поддавалась. Руки ребёнка были прижаты к телу и не мешали продвижению.

Всё складывалось удачно.

Ещё мгновение — и всё маленькое тельце легко выскользнуло на свет.

Барбара всё это время кричала. Казалось, её разрывают на части. Боль была такой, что не укладывалась ни в какие пределы.

В какой-то миг ей почудилось, будто она покинула собственное тело. Сознание словно зависло где-то под потолком, а внизу оставалась другая Барбара — измученная, беспомощная, потерявшая последние силы. Оттуда всё виделось особенно ясно.

В такие минуты приходит ощущение конца. Кажется, что организм уже сдался, что разум вот-вот погаснет.

Но сознание не уходило. Роды продолжались, и Барбара всё чувствовала, всё понимала, хотя временами ей казалось, будто рождает не она, а кто-то другой.

Потом всё закончилось. Тело обмякло, напряжение отпустило. Девочка заплакала — тихо, но уверенно, перебирая ручками и ножками. Фельдшер перерезал пуповину, быстро завернул ребёнка в простыню и передал матери.

Иван сидел на корточках у кровати и как-то нервно пятернями обеих рук зачёсывал волосы назад, будто только что принял какое-то судьбоносное решение. Он был измотан не меньше Барбары. Перед ним лежал маленький белый свёрток, перепачканный кровью и слизью. Иван смотрел на него с удивлением и почти с благоговением, как на нечто невозможное.

В голове медленно укладывалось одно простое понимание: он — отец.

Барбара держала ребёнка как самое драгоценное, что только может быть. Она осторожно расправила ткань, открыла сморщенное личико, улыбнулась и тихо прошептала:

— Доченька...

Имя ребёнку выбирали сообща. Барбаре не нравились предложенные Света, Катя, Даша, Юля. Она и сама носила имя, редкое для русского уха, и хотела, чтобы у дочери оно тоже было необычным, выделяющимся.

В голове крутились странные, обрывочные сочетания звуков: «клэ...», «дуом...», «брекма...». Они появлялись и тут же исчезали, не складываясь ни во что цельное. Имя должно было что-то означать, звучать гармонично, не выпадать из общего ряда, но и не растворяться в нём.

Мысли путались. От напряжения начинала болеть голова. Хотелось уже махнуть рукой на эту затею, выбрать что-нибудь простое, привычное...

И вдруг пришло понимание — ясное, отчётливое, не оставляющее никаких сомнений. Её дочь будет носить имя Галактика

Иван насторожился. Ему показалось, что с Барбарой что-то не так. Тревожная мысль мелькнула сама собой: не лишилась ли она рассудка после тяжёлых родов? И это было бы неудивительно. Он сам участвовал в этом испытании и понимал: забыть такое невозможно.

Даже ему, человеку, прошедшему войну и не раз смотревшему смерти в лицо, тогда стало по-настоящему страшно. На мгновение сердце замерло, ноги подкосились. Оказалось, что появление человека на свет пугает не меньше, чем уход из него.

Но вслух он ничего не сказал.

Наоборот, Иван поддержал жену. Принял её выбор как свой собственный. Имя было странным для этих мест, но в нём чувствовались сила, простор, какая-то бесконечность.

Он смотрел в огромные голубые глаза дочери и тихо повторял:

— Ты моя... Галактика...

Мысль о крещении ребёнка постепенно овладела им целиком. Для Ивана она стала почти навязчивой.

Поначалу Барбара не придавала этому значения. Ей казалось, что тогда, после родов, на него просто нашло: усталость, переживания, нервное потрясение. Но дни шли, и к девятому дню после рождения малышки она поняла: это не случайность.

Она вспомнила его взгляд — тот самый, светящийся, почти блаженный, когда он говорил о батюшке и его словах. От одного этого воспоминания ей стало не по себе.

В душе поднялось сопротивление.

Барбаре казалось, что её тянут куда-то в сторону от привычного мира, в какую-то тёмную, чуждую область. Средневековое мракобесие, секты, странные обряды — мысли мелькали одна за другой. Никакой святости в этом она не видела. Всё происходящее казалось почти нелепым.

Ей было даже немного смешно: её муж — коммунист, фронтовик — вдруг поверил в сказки. Превратился, как ей казалось, в того самого крестьянина, который крестится при каждом раскате грома, ожидая Страшного суда.

Она хотела поговорить с ним. Объяснить. Переубедить. Но мешало обещание.

Тогда, в тот момент, она дала его почти не раздумывая, надеясь, что всё забудется само собой. Теперь же отказаться означало совсем другое — обесценить то, что произошло между ними.

Она помнила, как он суетился, как переживал, как ни на шаг не отходил от неё во время родов. Иван действительно был готов пожертвовать собой — в этом не оставалось ни малейших сомнений.

И как после всего этого сказать ему «нет»?

Её отказ мог разрушить ту духовную и нравственную связь, которая возникла между ними.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.